

Ангелы не летают. Франц Кафка

Тетради ин-октаво[1]

Переводы выполнены по изданию: Kafka F. Gesammelte Werke. Bd. 1–9. Frankfurt a. M.: S. Fischer, 1946–1953 (это последнее, подготовленное Максом Бродом, издание собрания сочинений Кафки); в примечаниях использованы примечания и послесловия М. Брода к томам этого издания.

Нумерация записей не является традиционной и введена в настоящем издании для облегчения ссылок. Слова в текстах Кафки, заключенные в квадратные скобки (кроме отсылок [см. прим.]), добавлены М. Бродом.

Первая тетрадь

1.1.[2] Каждый человек носит в себе некую комнату. В этом можно удостовериться даже на слух. Если быстро идти и на ходу прислушиваться — скажем, ночью, когда вокруг тишина, — то услышишь, к примеру, дребезжанье какого-нибудь недостаточно надежно закрепленного стенового зеркала.

1.2. Он стоит, выдвинув вперед плечи, у него впалая грудь, руки висят, ноги почти не отрываются от пола, взгляд устремлен в одну точку. Он кочегар. Он загребает лопатой уголь и швыряет его в отверстие печи, дышащее огнем. Ребенок пробирается через двадцать фабричных дворов и дергает его за фартук. «Отец, — говорит он, — я принес тебе суп».

1.3.[3] Теплее ли здесь, чем на зимней земле? Вокруг белизна вершин, единственное темное пятно — мое ведро. Если раньше я был высоко, то теперь я глубоко, и взгляд на горы выгибает мне шею. Промерзшие до белизны ледяные поверхности, прорезанные пунктирными следами исчезнувших лыжников. Я иду по узким, меньше дюйма в ширину, глубоко вдавленным в снег следам маленьких арктических собак. Моя скачка утратила смысл, я спешил и нес ведро на плече.

1.4.[4] У. В.

Моя глубокая благодарность за бетховенский том. Шюпенгауэровский начинаю сегодня. Какой это труд — такая книга! Если бы Вы — с Вашими нежнейшими руками, Вашим абстрактнейшим взглядом на реальную действительность, с могучим и сдержанным подспудным огнем Вашего поэтического существа, с Вашими фантастически широкими познаниями, — если бы Вы только продолжили и дальше воздвигать такие памятники, к моей невыразимой радости!

1.5. Старый, тучный, с легким сердечным недомоганием, я лежал после обеда на кушетке, спустив одну ногу на пол, и читал некое историческое сочинение. Вошла служанка и, прижимая два пальца к поджатым губам, доложила о приходе гостя.

— Кто это? — спросил я, раздосадованный тем, что, именно когда я ожидаю послеобеденной чашки кофе, должен принимать какого-то гостя.

— Китаец, — сказала служанка и, судорожно сморщившись, подавила смех, чтобы его не услышал гость за дверью.

— Китаец? Ко мне? Он что, в китайской одежде?

Служанка кивнула, все еще борясь с приступом смеха.

— Назови ему мое имя и спроси, действительно ли ко мне он пришел; если уж меня не знают в соседнем доме, то как я должен быть неизвестен в Китае!

Служанка на цыпочках подошла ко мне и прошептала:

— У него только визитная карточка, и на ней написано, что он просит его принять. По-немецки он не умеет, говорит на каком-то непонятном языке, а брать у него карточку я побоялась.

— Пусть заходит! — крикнул я в раздражении, часто охватывающем меня вследствие моего сердечного недуга, швырнул книгу на пол и обругал служанку.

Встав и выпрямившись во весь мой гигантский рост, который в этой низкой комнате должен был напугать любого посетителя, я пошел к двери. И действительно, едва увидев меня, китаец тут же кинулся к выходу. Я догнал этого человека только в коридоре и, осторожно ухватив за шелковый пояс, подтянул к себе. Это явно был ученый: маленький, слабый, в роговых очках, с трясущейся, черной с проседью, жесткой козлиной бородкой. Человечек дружелюбно склонял голову и улыбался с полузакрытыми глазами.

1.6.[5] Однажды утром адвокат доктор Буцефал подозвал к своей кровати экономку и сказал ей:

— Сегодня начинаются большие прения по процессу моего брата Буцефала против фирмы Бестолетта. Я поддерживаю обвинение и, поскольку прения продлятся по меньшей мере несколько дней, причем без особых перерывов, в ближайшие дни домой вообще приходить не буду. Когда прения закончатся или появится надежда на их окончание, я вам позвоню. Большого я сейчас сказать не могу — так же как и отвечать на какие бы то ни было вопросы, поскольку, естественно, должен заботиться о том, чтобы сохранить полную собранность. Поэтому и на завтрак принесите мне два сырых яйца и чай с медом.

Затем, медленно опустившись на подушки и прикрыв глаза рукой, он погрузился в молчание.

Болтливая, но умиравшая от страха перед своим господином экономка была страшно поражена. Такое необычное распоряжение — и так

неожиданно. Еще накануне вечером господин разговоривал с ней, но не сделал ни малейшего намека на предстоящее. И не могут же эти прения назначаться на ночь? И разве бывают такие прения, которые длятся целыми днями без перерывов? И почему господин назвал ей участников процесса, ведь в разговорах с ней он этого еще никогда не делал? И что же это за чудовищный такой процесс должен быть у брата господина, у этого мелкого зеленщика Адольфа Буцефала, с которым, кстати, господин, кажется, давно уже не очень ладит? И как господин выдержит это невыносимое напряжение, когда он сейчас лежал в постели такой усталый и, если утренний свет не обманывал, прикрывал рукой уже осунувшееся лицо? И спросил себе только яиц и чаю, а не так, как обычно, винца и ветчинки — для полного пробуждения жизненных сил? С такими мыслями экономка возвратилась на кухню, присела — только на минуточку — на свое любимое место у окошка, на котором стояли цветы и клетка с канарейкой, поглядела через двор на окно дома напротив, где за оконной решеткой боролись, играя, два полуголых малыша, затем, вздохнув, отвернулась от окна, налила чаю, взяла из продуктового шкафчика два яйца, разместила все на подносе, прихватила, не в силах удержаться, в качестве благого соблазна и бутылочку вина и пошла со всем этим в спальню.

Спальня была пуста. Как же так, господин же не мог уже уйти? Не мог же он за одну минуту одеться. Но ни белья, ни платья тоже нигде не было видно. Да господи, что же это с господином делается? В прихожую! И плаща, и шляпы, и трости тоже нет. К окну! Господи, спаси и помилуй! вот он, господин, выходит из ворот, шляпа на затылке, плащ распахнут, папка с бумагами прижата к груди, а трость болтается, зацепленная за карман плаща.

1.7. Вы знаете дворец Трокадеро в Париже? В этом здании, о протяженности которого Вы не сможете составить себе даже приблизительного представления, если будете рассматривать его только на изображениях, как раз сейчас проходят заседания по одному большому процессу. Вы, может быть, подумали о том, как это удастся достаточно протопить подобное здание в столь лютую зиму. А оно не отапливается. В таком случае, как этот, сразу же думать об отоплении можно только в том миленьком провинциальном городишке, в котором Вы влачите свои дни. Трокадеро не отапливается, но это не тормозит хода процесса, напротив, погруженный в этот со всех сторон, сверху и снизу льющийся холод, процесс идет в совершенно равномерном темпе, вдоль и поперек, вдаль и вширь.

1.8. Вчера ко мне пришла хандра. Она живет в соседнем доме, и я уже не раз видел, как вечерами она, пригнувшись, скрывается в тамошних низких воротах. Это высокая дама в длинном свободном платье и широкополой, украшенной перьями шляпе. С шелестящей поспешностью она вошла в мою дверь, словно врач, опасющийся, что слишком поздно пришел к угасающему больному.

— Антон! — воскликнула она глухим и в то же время гулким голосом, — я пришла, я здесь!

Ничего не говоря, я указал ей на стул, она упала на него.

— Высоко же ты забрался, ох высоко, — сказала она со стоном.

Я кивнул ей из глубины своего кресла. Бесчисленные ступени, которые вели к моей комнате,плыли у меня перед глазами одна за одной неутомимыми маленькими волнами.

— Почему так холодно? — спросила она, стянула свои длинные старые фехтовальные перчатки, бросила их на стол и, наклонив голову, понимающе посмотрела на меня.

Я казался себе воробьем, прыгающим по лестнице, и она ерошила мои мягкие пушистые серые перья.

— Мне до глубины души жаль, что ты измучилась со мной. Я ведь уже не раз с откровенной тоской смотрел в твоё изможденное лицо, когда, стоя во дворе, ты поднимала взгляд к моим окнам. Так что теперь я ничего не имею против тебя, и если мое сердце еще не принадлежит тебе, то ты вполне можешь им завладеть.

1.9. До какого равнодушия могут прийти люди, до какого глубокого убеждения в том, что навсегда потеряли верный след.

1.10. Ошибка. Дверь в конце длинного коридора, которую я открыл, была не моя. «Ошибка», — сказала я, намереваясь выйти. И тут я увидел обитателя этой комнаты, худого безбородого мужчину с плотно сжатым ртом, сидевшего за столиком, на котором стояла только керосиновая лампа.

1.11.[6] В нашем доме, в этом чудовищном многоквартирном доходном доме... [см. прим.].

1.12. Это было первое воззвание. Читать или, тем более, обдумывать... [см. прим.].

1.13. Иногда я верю, что все мои прошлые и будущие грехи искуплены тем, что, когда вечером — или даже утром, после ночной смены на машиностроительном заводе — я прихожу домой, у меня болят все кости. Я недостаточно крепок для такой работы, уже давно это понял и все-таки ничего не меняю.

1.14.[7] В нашем доме, в этом чудовищном многоквартирном доходном доме, проросшем на окраине сквозь средневековую руину, в одном коридоре со мной в семье рабочего квартирует окружной писарь. Они, правда, называют его чиновником, но все же он может быть только каким-нибудь мелким писарем, ночующим на полу на соломенном тюфяке в гнезде чужой ему супружеской пары и в окружении их шестерых детей. А если он, таким образом, мелкий писарь, то что мне за дело до него? Даже в этом доме, в котором собралась выпаренная городом нищета, наверняка есть больше сотни людей...

1.15. В одном коридоре со мной живет портной, занимающийся починкой одежды. Несмотря на все предосторожности, я слишком быстро изнашиваю платье, и недавно мне опять пришлось нести пиджак к этому портному. Был чудный, теплый летний вечер. Портной, имея жену и шестерых детей, занимает только одну комнату, служащую одновременно и кухней. Но кроме того, он держит у себя еще и жильца — писаря налогового управления. Такая плотность комнатного населения все же несколько превышает обычную, которая уж где-где, а в нашем доме и так достаточно велика. Впрочем, каждому — свое, экономность портного, несомненно, имела свои неопровержимые основания, и никому из чужих не приходило в голову заводить обсуждение этих оснований.

1.16.[8] 19 февраля 1917 г. Сегодня прочел «Германна и Доротейу», кое-что из мемуаров Рихтера о картинах, которые он видел, и, наконец, сцену из «Гризельды» Гауптмана. В этот момент и на ближайший час я — другой человек. Хотя все перспективы так же туманны, как всегда, но туманные картины изменились. В эти тяжелые сапоги, которые я сегодня впервые надел (первоначально они предназначались для военной службы), всунут другой человек.

1.17. Я живу у господина Круммхольца, деля комнату с писарем из налогового управления. Кроме того, в этой комнате спят в одной кровати две дочери Круммхольца, девочки шести и семи лет. С первого же дня, как появился этот писарь, — сам я живу у Круммхольца уже много лет — у меня возникло какое-то, поначалу совершенно неопределенное, подозрение в отношении него. Это человек ниже среднего роста, в серой мешковатой одежде, слабый, по-видимому, с не вполне здоровыми легкими, с морщинистым лицом, по которому не определишь возраста, с длинноватыми, зачесанными на уши светло-пепельными волосами, далеко сдвинутыми на нос очками и маленькой, тоже поседевшей, козлиной бородкой.

1.18.[9] Жизнь, которую я вел тогда на строительстве дороги в центральном Конго, была не легкой.

Я сидел на крытой веранде моей деревянной хижины. Вместо одной продольной стены была натянута чрезвычайно мелкаячеистая противомоскитная сетка, которую я выторговал у одного начальника рабочих, вождя племени, по территории которого должна была пройти наша дорога. Сетка была новенькая, такая прочная и в то же время мягкая, какой в Европе вообще не смогли бы изготовить. Моей сетке очень завидовали, это была моя гордость. Без такой сетки было бы вообще невозможно спокойно сесть вечером на веранде, выкрутить фитиль лампы так, как я это сейчас сделал, взять для изучения старую газету из Европы и вдобавок обильно дымить трубой.

1.19. У меня запястье старого неугомимого удачливого удильщика — кто же еще может так непринужденно говорить о своих способностях? Сижу я, к примеру, дома, перед тем как пойти поудить, и, внимательно наблюдая, верчу правой кистью попеременно туда и сюда. Этого часто бывает достаточно для того, чтобы у меня появилось детальное видение и ощущение результатов будущей рыбалки. Какой-то дар провидения заключен в составе этого сустава, на который я во время отдыха, чтобы дать ему набраться сил, надеваю золотой браслет. В особые, по-особому текущие часы я вижу воду на месте моего ужения; мне является поперечное сечение реки, и в десяти, двадцати — даже ста различных местах к этой плоскости сечения придвигаются рыбы, однозначно определяемые по количеству и виду; теперь я знаю, как мне вести удочку; некоторые рыбы без опаски протыкают головами эту плоскость, тут я покачиваю перед ними удочкой — и они уже болтаются на ней, краткость этого мига судьбы приводит меня в экстаз даже за домашним столом; другие рыбы придвигаются уже прямо к моему животу, тут уж не зевай; многих я еще успеваю настичь, остальные проскальзывают эту опасную плоскость, успевая унести даже хвост, и на этот раз они для меня потеряны, но только на этот раз, ведь от настоящего удильщика не уйдет ни одна рыба.

Вторая тетрадь

2.1.[10] [Непосредственно после рассказа «Химера».] Один маленький мальчик получил в наследство от своего отца всего лишь кошку и стал благодаря ей мэром Лондона. Кем же благодаря моему зверю — моему наследству — стану я? Где он раскинулся, тот гигантский город?

2.2. Писаная, дошедшая до нас в повествованиях мировая история о многом совершенно ничего не сообщает, в то время как дар провидения хоть часто и ведет человека не туда, но все-таки ведет, не покидает его. Так, например, повествование о семи чудесах света всегда было окутано слухами о том, что существовало еще некое восьмое чудо света, и об этом восьмом чуде ходили разные, может быть и противоречившие друг другу легенды, неопределенность которых объясняется темнотой древних времен.

2.3. Несомненно, дамы и господа, — примерно так звучало обращение по-европейски одетого араба к группе буквально съездившихся туристов, которые не столько слушали его, сколько обзоредали невероятную постройку, выращавшую перед ними из голой каменистой почвы, — несомненно, на этом месте вы согласитесь, что моя фирма намного превосходит все остальные, даже издавна и по праву прославленные туристические агентства. В то время как наши конкуренты по старой дешевой привычке возят своих клиентов к семи чудесам света, указанным в исторических трактатах, наша фирма показывает восьмое чудо света.

2.4. Нет, нет,

2.5. Некоторые говорят, что он ханжа, некоторые — что это только видимость. Мои родители знакомы с его отцом, и, когда последний в минувшее воскресенье посетил нас, я прямо спросил его о сыне. Однако старик очень хитер, к нему трудно подступиться, а у меня совершенно отсутствует умение проводить такие атаки. Шел оживленный разговор, но стоило мне вбросить свой вопрос, как наступила тишина. Мой отец начал нервно тереть бороду, мать встала посмотреть, не готов ли чай, а этот старый господин с бледным морщинистым лицом, сильно заросшим седой щетиной, склонив голову набок, смотрел на меня своими голубыми глазами и улыбался.

— Да, молодой человек, — сказал он, перевел взгляд на настольную лампу, уже зажженную в этот ранний зимний вечер, и затем спросил: — Вы уже имели случай с ним поговорить?

— Нет, — сказал я, — но я уже много о нем слышал и с большим удовольствием поговорил бы с ним, если бы он как-нибудь пожелал меня принять.

2.6. «Что же? Что же?» — кричал я, еще удерживаемый в кровати сном, и простирал вверх руки. Потом я встал, но еще долго не осознавал происходящего, мне казалось, что я должен отстранить от себя людей, которые меня удерживают; я в самом деле произвел необходимые для этого движения руками и таким образом добрался наконец до раскрытого окна.

2.7. Беспомощность весеннего амбара, весеннего чахоточного.

2.8. Случается, что великие тореадоры, в силу причин, которые часто почти невозможно угадать, выбирают в качестве места

проведения боя разрушенную арену какого-нибудь отдаленного городка, название которого мадридской публике до этого почти и не было известно. Какую-нибудь столетия назад заброшенную арену: здесь она поросла травой, и на ней играют дети — там блестит голыми камнями, и на них отдыхают змеи и ящерицы. Трибуны вокруг давно растасканы: это каменоломня для всей округи, — сохранилась лишь малая их часть, где могут разместиться в лучшем случае человек пятьсот. Рядом нет никаких строений, и в частности — никаких помещений для животных, но хуже всего то, что до этих мест еще не дошла железная дорога; до ближайшей станции на повозке — три часа, пешком — семь.

2.9. Мои руки вступили в борьбу друг с другом. Книгу, которую я читал, они захлопнули и отбросили в сторону, чтобы не мешала, а меня поприветствовали и назначили арбитром. И вот они уже скрестили пальцы и сцепились на краю стола; они смещаются то влево, то вправо, в зависимости от превосходства силы напора той или другой. Я не спускаю с них глаз. Поскольку это мои руки, я должен быть справедлив, иначе сам повещу себе на шею камень несправедного приговора. Однако должность моя не легка, в темноте ладони прибегают к разным уловкам, которые я не имею права оставлять без внимания, поэтому я прижимаюсь подбородком к столу: теперь уж от меня ничто не укроется. Всю свою жизнь я отдавал предпочтение правой руке, отнюдь не питая при этом никакого злого умысла против левой. И если бы левая когда-нибудь выказала неудовольствие, то я, будучи человеком покладистым и справедливым, немедленно прекратил бы такое злоупотребление. Но она, не протестуя, висела себе сбоку, и, в то время как правая, допустим, на улице размахивала моей шляпой, левая пугливо прижималась к моему бедру. Что было плохой подготовкой к той борьбе, которая теперь происходила. Каким образом ты, левое запястье, собираешься оказывать длительное сопротивление этому мощному правому? Как твои дамские пальчики отстоят себя, стиснутые пятерней тех, других? Это, по-моему, уже и не борьба, а естественный конец левой. Она уже оттеснена на самый край, в левый угол стола, и на ней вверх и вниз, равномерно, как поршень какой-нибудь машины, ходит правая. И если бы при виде подобного насилия мне не пришла в голову спасительная мысль о том, что это мои собственные руки борются здесь и что я одним легким рывком могу разнять их, прекратив тем самым и борьбу, и насилие, — если бы мне не пришла в голову эта мысль, моя левая была бы выкручена из сустава и сброшена со стола, а тогда, быть может, моя правая, как пятиглавый адский пес, в победном разгуле въехала бы и мне самому в мое внимательное лицо. Вместо этого они лежат теперь друг на друге, и правая поглаживает левую с тыльной стороны, а я, судья несправедный, одобрительно киваю.

2.10. Нашим отрядам наконец удалось ворваться в город через южные ворота. Мой дивизион, расположившись в каком-то пригородном саду под полусгоревшими вишнями, ожидал приказа. Но когда мы услышали высокий звук трубы с южных ворот, уже ничто не могло нас удержать. Схватив первым движением оружие, мы без всякого порядка, в обнимку, завывая наш боевой клич «Каира Каира», длинными цепями рысью помчались через болото к городу. У южных ворот мы обнаружили уже только трупы и желтый дым, который клубился над землей и все закрывал. Но мы не хотели быть лишь арьергардом и сразу свернули в узкие боковые улочки, которые до сих пор щадил война. Дверь первого же дома разлетелась под ударом моего каблука, и мы так яростно ворвались в прихожую, что поначалу нас закружило, словно вихрем. По длинному пустому коридору к нам приближался какой-то старик. Станный старик: у него были крылья. Широко расставленные крылья, их верхние края поднимались выше его головы.

— У него крылья! — крикнул я товарищам, и мы немного отступили — насколько позволили нам теснившиеся сзади.

— Вы удивлены, — сказал старик. — Да, у нас у всех крылья, но нам от них никакой пользы, и, если бы мы могли их оборвать, мы сделали бы это.

— Почему же вы не улетели отсюда? — спросил я.

— Мы должны были улететь из нашего города? Бросив родину? наших мертвых и наших богов?

Егерь Грах

Двое мальчиков сидели на стенке набережной и играли в кости. На ступенях памятника, в тени размахивавшего саблей геоя, какой-то мужчина читал газету. Девочка у фонтана наполняла водой маленькую кадучку. Торговец фруктами лежал подле своего товара и смотрел на море. Сквозь пустые проемы двери и окон пивной в ее глубине были видны двое мужчин, которые пили вино. Хозяин сидел за столом недалеко от двери и дремал. Какая-то барка, словно перенесенная в маленькую гавань по-над водой, тихонько покачивалась в пространстве. Мужчина в синей блузе сошел на землю и стал протаскивать канат сквозь кольцо. Двое других, в темных куртках с серебряными пуговицами, сошли вслед за шкипером; они несли носилки, на которых под большим, расшитым цветами шелковым платком с бахромой, очевидно, лежал человек.

На набережной никто не обратил внимания на этих новоприбывших; даже когда они опустили носилки на землю, ожидая лодочника, который все еще возился с канатом, никто к ним не подошел, никто не задал им ни одного вопроса, никто не пригляделся к ним повнимательней. Женщина с распущенными волосами, появившаяся на палубе с ребенком на руках, еще немного задержала лодочника. Затем он подошел и указал на желтоватый двухэтажный дом, прямоугольный силуэт которого выросла слева, недалеко от воды; носильщики подняли груз и внесли в низкие, но обрамленные стройными колоннами ворота. Маленький мальчик, открыв окно, как раз успел еще заметить, как эта группа скрылась в доме, и поспешно снова закрыл окно. Закрыты были уже и ворота; створки их были вырезаны из черного дуба и тщательно пригнаны. Стая голубей, до сих пор летавшая вокруг колокольни, теперь опустилась перед домом. Голуби собрались у ворот так, словно в доме хранилась их пища. Один взлетел к окну второго этажа и стукнул клювом в стекло. Это были светлоокрашенные, хорошо ухоженные, живые создания. Женщина с барки взмахом руки бросила им зерна; стая поднялась и перелетела к женщине.

Какой-то мужчина в цилиндре с траурной ленточкой спускался по одной из узких, круто сбегавших под гору улочек, которые вели к гавани. Он внимательно смотрел по сторонам, его все интересовало; вид нечистот на каком-то углу заставил черты его лица исказиться. На ступенях памятника валялась фруктовая кожура; проходя мимо, господин сбросил ее своей тростью. У входных дверей он постучал, одновременно взяв цилиндр в правую руку, обтянутую черной перчаткой. Открыли сразу; полтора десятка маленьких мальчиков, выстроившихся шеренгой в длинном коридоре, склонились в поклоне.

Шкипер спустился по лестнице, приветствовал господина, провел его наверх, по второму этажу обошел вместе с ним окруженный легкой

изящной галереей двор, и оба, в сопровождении следователю за ними на почтительном расстоянии мальчиков, вошли в прохладное большое помещение в задней части дома; за этим домом больше домов уже не было, видна была только поднимающаяся стеной холодная серо-черная скала. Носильщики были заняты тем, что устанавливали и зажигали в изголовье носилок длинные свечи, которые, однако, света не давали, а только вспугивали покоившиеся до того тени, заставляя их буквально метаться по стенам. Платок на носилках был откинута. Там лежал мужчина с отросшими, дико спутанными волосами и бородой и с обветренной кожей, похожий на какого-то егеря. Он лежал неподвижный, очевидно бездыханный, с закрытыми глазами, хотя на то, что это, по-видимому, был мертвец, указывала только обстановка.

Господин подошел к носилкам, положил руку на лоб лежавшего в них, затем опустился на колени и начал молиться. Шкипер кивнул носильщикам, чтобы они покинули комнату, они вышли, отогнали мальчиков, столпившихся у порога, и закрыли дверь. Но и этого господину показалось еще недостаточно, он посмотрел на шкипера, тот понял и вышел через боковую дверь в соседнюю комнату. Мужчина, лежавший на носилках, тут же раскрыл глаза, болезненно усмехаясь, повернул лицо к господину и произнес:

— Кто ты?

Не выказав удивления, господин поднялся с колен и ответил:

— Бургомистр Ривы.

Мужчина на носилках кивнул, указал слабо протянутой рукой на стул и, после того как бургомистр последовал его приглашению, сказал:

— Я это, конечно, знал, господин бургомистр, но в первый момент я всегда все забываю, у меня голова идет кругом, и я лучше спрошу, даже если все знаю. Вы, надо полагать, тоже знаете, что я егерь Грах.

— Разумеется, — сказал бургомистр. — Меня известили о вас сегодня ночью. Мы давно уже спали. И вдруг около полуночи моя жена вскрикивает: «Сальваторе (так меня зовут), посмотри на этого голубя на окне!» Там действительно был голубь, но размером с петуха. Он подлетел к моему уху и сказал: «Завтра прибудет мертвый егерь Грах, прими его во имя города».

Егерь кивнул и провел кончиком языка по губам.

— Да, перед моим появлением прилетают голуби. Но как вы думаете, господин бургомистр, следует ли мне оставаться в Риве?

— Этого я пока еще не могу сказать, — ответил бургомистр. — Вы мертвы?

— Да, — сказал егерь, — как видите. Много лет тому назад — но, должно быть, уже необычайно много лет тому назад — я сорвался в Шварцвальде (это в Германии) с одной скалы, гоняясь за серной. С тех пор я и мертв.

— Но в то же время вы и живы.

— В какой-то мере, — сказал егерь, — в какой-то мере я и жив. Мой смертный челн сбился с курса: неверный поворот руля, мгновение невнимательности капитана, какое-то притяжение моей дивной родины — не знаю, что это было, знаю только, что я остался на земле и что мой челн с тех пор плавает по земным водам. Вот так и вышло, что я, всегда мечтавший жить только в своих горах, после смерти путешествую по всем странам земли.

— И вы никак не связаны с потусторонним миром? — спросил, наморщив лоб, бургомистр.

— Я, — ответил егерь, — все время нахожусь на гигантской лестнице, которая ведет наверх. Я болтаюсь на этой бесконечно широкой наружной лестнице, оказываясь то выше, то ниже, то правее, то левее, и все время нахожусь в движении. Был егерь, а стал какой-то мотылек. Не смейтесь.

— Я не смеюсь, — возразил бургомистр.

— Очень разумно, — сказал егерь. — Я все время нахожусь в движении. Но когда достигаю максимальной высоты и уже вижу сияние верхних врат, я просыпаюсь на моем старом челне, безнадежно застрявшем в каких-нибудь земных водах. И главная ошибка моей давней смерти скалит надо мной зубы в моей каюте. Стучит Юлия, жена шкипера, входит и ставит к моим носилкам утренний напиток той страны, мимо которой мы в это время проплываем. Я лежу на деревянном настиле, смотреть на меня не слишком большое удовольствие: на мне грязный саван, волосы головы и бороды, черные и седые, переплелись неразделимо, ноги прикрыты большим шелковым, расшитым цветами женским платком с длинной бахромой. В головах у меня стоит и светит мне церковная свеча. На стенке перед моими глазами висит маленькая картинка, изображающая, по-видимому, бушмена, который целится в меня дротиком, старательно прячась за дико раскрашенным щитом. На судах встречается много глупых изображений, но это — одно из глупейших. В общем, моя деревянная клетка совершенно пуста. Через люк в боковой стенке проникает теплый воздух южной ночи, и я слышу, как вода бьет о старую барку.

Так я и лежу с тех пор, как я, еще живой егерь Грах, дома, в Шварцвальде, погнался за серной и сорвался. Все шло как положено. Я погнался, сорвался, истек кровью в каком-то ущелье, был мертв, и эта барка должна была перевезти меня на ту сторону. Я еще помню, как весело протянулся в первый раз на этом настиле. Горы никогда не слышали от меня такого пения, как эти четыре, тогда еще сумеречные, стены.

Я с удовольствием жил и с удовольствием умер; я радостно скинул с себя, перед тем как взойти на борт, грязное снаряжение, которое всегда носил с такой гордостью: штаны, сумку, ружье, — и скользнул в саван, как девушка в подвенечное платье. Я лежал вот так и ждал. И тут случилось это несчастье.

— Ужасная судьба, — сказал бургомистр, подняв руку для защиты. — И в этом нет никакой вашей вины?

— Никакой, — сказал егерь, — я был егерем — какая же тут вина? Я был назначен егерем в Шварцвальд, где тогда еще водились волки. Я сидел в засаде, стрелял, попадал, сдирал шкуру — какая тут вина? На мою работу снизошла высшая милость. Меня назвали «великим егерем Шварцвальда». Какая тут вина?

— Я здесь не компетентен, — сказал бургомистр, — однако и я не вижу в этом никакой вины. Но кто же тогда виноват?

— Капитан, — сказал егерь. — Никто не прочтет то, что я здесь напишу, никто не придет, чтобы мне помочь; да если б даже была поставлена такая задача — помочь мне, так и тогда все двери всех домов остались бы закрытыми, все лежали бы в кроватях, натянув одеяла на головы, вся земля ушла бы на ночевку. В этом есть здравый смысл: никто ведь не знает обо мне, а если бы кто-то и знал обо мне, так не знал бы, где я, а знал бы, где я, так не знал бы, как меня там удержать, не знал бы, как мне помочь. Сама мысль о том, чтобы мне помочь, — это болезнь, которую надо лечить в постельном режиме.

Я это знаю и поэтому не кричу и не зову на помощь, хотя в иные мгновения — к примеру, как раз теперь: характер-то у меня необузданный — очень крепко об этом думаю. Но для того чтобы прогнать эти мысли, вполне достаточно оглядеться вокруг и вспомнить, где я нахожусь и обитаю вот уже — я могу наверное это утверждать — не одну сотню лет.

— Экстраординарно, — сказал бургомистр, — экстраординарно... И теперь вы, значит, намереваетесь остаться у нас в Риве?

— Я не намереваюсь, — сказал егерь, усмехнувшись, и, чтобы сгладить насмешку, положил руку на колено бургомистра. — Я — здесь, и больше я ничего не знаю, и больше я ничего не могу сделать. Мой челн — без руля, он плывет под ветром, дующим в самых нижних пределах смерти.

Егерь Гракх

(Фрагмент)

— Как же это, егерь Гракх, ты плывешь в этом старом челне уже не один век?

— Уже пятнадцать веков.

— И все время на этом корабле?

— Все время на этой барке. Барка, по-моему, правильное название. Ты не разбираешься в корабельном деле?

— Нет, я не интересовался им до сегодняшнего дня, до тех пор, пока не узнал о тебе, до тех пор, пока не взошел на этот корабль.

— Не надо извинений. Я ведь тоже из сухопутной страны. Моряком не был и не хотел становиться, дружил с горами и лесами, а теперь вот — старейший моряк; егерь Гракх — покровитель матросов, егерь Гракх — святой, которому в штормовую ночь молится, ломая руки, корабельный юнга, дрожащий от страха в «вороньем гнезде». Не смейся.

— Это я-то смеюсь? Нет, воистину нет. С бьющимся сердцем стоял я у двери твоей каюты, с бьющимся сердцем вошел в нее. Твоя дружелюбная суть меня немного успокоила, но я ни на миг не забываю, у кого я в гостях.

— Разумеется, ты прав. Но как бы там ни было, я — егерь Гракх. Вина выпить хочешь? Сорта я не знаю, но оно сладкое и крепкое, патрон хорошо меня снабжает.

— Благодарю, не сейчас, я слишком спокоен. Может быть, попозднее, если ты захочешь так долго терпеть меня здесь. К тому же я не решаюсь пить из твоего стакана. Кто твой патрон?

— Владелец барки. Эти патроны, вообще-то, отличные люди. Я, правда, их не понимаю. Я не язык их имею в виду, хотя, естественно, их язык я тоже часто не понимаю. Но это только к слову. Языки в течение этих веков я достаточно изучил и мог бы быть толмачом между предками и нынешними. Но я не понимаю хода мысли патронов. Может быть, ты сумеешь мне его объяснить.

— Больших надежд на это у меня нет. Как я могу что-то тебе объяснить, когда я в сравнении с тобой — едва лепечущий ребенок.

— А вот этого не надо, раз и навсегда — не надо. Ты сделаешь мне одолжение, если будешь держаться немного мужественнее, немного увереннее в себе. На что мне тень вместо гостя? — я душу, и она вылетит через этот люк в море. Но если ты трясешься тут за моим столом и забываешь из-за своих иллюзий то небольшое, что знаешь, то можешь сразу убираться. Я говорю то, что я думаю.

— В этом есть своя правда. Я действительно кое в чем выше тебя. Так что я постараюсь взять себя в руки. Спрашивай!

— Уже лучше, намного лучше, но ты заходишь в этом направлении слишком далеко, воображая, что у тебя есть надо мной какое-то превосходство. Ты только должен правильно меня понять. Я такой же человек, как и ты, но нетерпеливее тебя на те несколько веков, на которые я тебя старше. Итак, мы собирались говорить о патронах. Будь внимателен! И выпей вина, будешь лучше соображать. Не стесняйся. Крепкое. На этой посудине его еще много.

— Гракх, это превосходное вино. Твой патрон должен хорошо жить.

— К сожалению, он сегодня умер. Он был добрый человек, и он отошел с миром. Взрослые удачные дети стояли у его смертного одра, у ног его в беспомощности лежала жена, но последняя его мысль была обо мне. Добрый человек. В Гамбурге жил.

— О господи, в Гамбурге, а ты здесь, на юге, знаешь, что он сегодня умер?

— Что? Я не должен знать, когда умирает мой патрон? Ты все-таки на редкость ограниченный.

— Ты хочешь меня обидеть?

— Нет, совсем нет, это вышло самой собой. Но ты должен поменьше удивляться и пить больше вина. А с патроном дело обстоит так: эта барка изначально вообще никому человеку не принадлежала.

— Грах, одна просьба. Расскажи мне сначала кратко, но связно твою историю. Потому что, если честно признаться, я ее не знаю. Для тебя все это, естественно, само собой разумеющиеся вещи, и ты, по своей привычке, предполагаешь, что они известны всему миру. Но в короткой человеческой жизни — потому что в действительности жизнь коротка, Грах, постарайся это как-то понять, — в этой короткой жизни у тебя полон рот забот, чтобы выйти в люди самому и поставить на ноги детей. И как ни интересен егеря Грах — а я в этом убежден, и это не попытка польстить, — у тебя нет времени думать о нем, разузнавать о нем или тем более как-то о нем беспокоиться. Разве что, может быть, на смертном одре, как твой человек из Гамбурга, — чего не знаю, того не знаю. Может быть, там у хлопотливого человека в первый раз есть время полежать, растянувшись, и тогда сквозь праздные мысли вдруг да и пробьется зеленый егеря Грах. А пока я, как уже сказано, ничего о тебе не знаю; в гавань я попал по делам, увидел эту барку, сходни были переброшены, и я взошел по ним, но теперь я с удовольствием услышал бы о тебе какой-нибудь связный рассказ.

— Ах, тебе связи нужно. Одна и та же старая история. Все книги полны этим, во всех школах учителя рисуют это на доске, мать грезит этим, пока ребенок сосет ее грудь, об этом шепчутся, обнимаясь; торговцы говорят это покупателям, покупатели — торговцам, солдаты поют об этом на марше, священник провозглашает это в церкви, историки, сидя с раскрытыми ртами в своих кабинетах, всматриваются в давно минувшее и непрерывно это описывают; это печатается в газетах, и их передают из рук в руки; телеграф изобрели, чтобы это быстрее облетало землю; это раскапывают в засыпанных городах, и лифт мчит это на крышу небоскреба. Железнодорожные пассажиры кричат об этом из окон в тех краях, через которые проезжают, но, опережая их, это несется им навстречу с воем диких зверей; это можно прочесть по звездам, и отражения этого несут моря; это спускается ручьями с гор, и снег снова взметает это на вершины; и ты, человек, сидишь здесь и спрашиваешь меня о связи. Должно быть, ты провел изысканно-беспутную юность.

— Возможно, хотя всякая юность своеобразна. Но тебе, я думаю, очень бы не помешало, если бы ты смог когда-нибудь немножко осмотреться в этом мире. Каким бы смешным тебе это ни показалось — я сам здесь почти удивляюсь этому, — но тем не менее это так: ты — не предмет городских разговоров, там говорят о чем угодно, но не о тебе; мир идет своим путем, и ты плывешь своим маршрутом, но никогда до сего дня я не замечал, чтобы они пересекались.

— Это только твои наблюдения, мой милый, другие наблюдают другое. Тут есть всего две возможности. Либо ты скрываешь, что знаешь обо мне, имея при этом какой-то определенный умысел, и в этом случае я тебе совершенно откровенно скажу: ты промахнешься. Либо ты и в самом деле полагаешь, что не можешь обо мне вспомнить, потому что спутал мою историю с какой-то другой. И в этом случае я скажу тебе только одно: я... нет, я не могу. Это знает каждый — и именно я должен тебе это рассказывать! Это такая старая история. Обратись к историкам! Сходи к ним и потом приходи снова. Это такая старая история — как я могу сохранять ее в этом переполненном мозгу?

— Погоди, Грах, я помогу тебе вспомнить, я буду задавать тебе вопросы. Откуда ты родом?

— Из Шварцвальда, это всем известно.

— Разумеется, из Шварцвальда. И, значит, ты там охотился примерно в четвертом веке?

— Парень, ты знаешь Шварцвальд?

— Нет.

— Ты и в самом деле вообще ничего не знаешь. Маленький ребенок рулевого знает больше, чем ты, и, скорее всего, намного больше. Кто тебя только сюда загнал? Это какой-то рок. Твоя навязчивая скромность была действительно более чем оправдана. Ты — пустота, которую я наполняю вином... Значит, ты не знаешь даже Шварцвальда. А я там родился. И до двадцати пяти лет охотился там. И если бы не увлекся погоней за этой серной... да, ну, это ты знаешь, я прожил бы долгую и славную жизнь егеря, но серна увлекла меня, я сорвался и разбился насмерть о камни. Довольно вопросов. Вот я здесь — и я мертв, мертв, мертв! Не знаю, почему я здесь. Был погружен тогда на челн смерти — жалкий мертвец, которому там и место, — надо мной произвели пару-тройку манипуляций, как над каждым, — с чего для егеря Граха делать какие-то исключения? — все было как положено, я лежал, протянувшись, в челне.

Третья тетрадь

3.1.[11] 18 октября 1917 г. Страх перед немочью ночью. Страх перед не-очень-ночью.[12]

3.2. Бессмысленность (слишком сильное слово) деления на свое и чужое в духовной борьбе.

3.3. Вся наука применительно к абсолютному есть методика. Поэтому не нужно бояться однозначно методического. Это оболочка — и не более того, но в ней всё, кроме Одного.

3.4. Мы все борцы в одной общей борьбе. (Когда меня осаждают проклятые вопросы и я шарю позади себя в поисках оружия, я не могу его выбрать, а если бы даже и мог, я вынужден был бы схватить «чужое», так как запас оружия у нас на всех один.) Я не могу вести какую-то собственную борьбу; если когда-нибудь я воображу себя самостоятельным, если когда-нибудь я не увижу никого вокруг себя, то вскоре выяснится, что ввиду сиюминутной — или принципиальной — недоступности окружающего я вынужден буду сам заполнить эту пустоту. [Унижение] тщеславия? Да, но в то же время необходимое и настоящее ободрение.

3.5.[13] Я заблуждаюсь.

Истинный путь идет по канату, натянутому не на высоте, а над самой землей. Кажется, он предназначен не для того, чтобы на него вступали, а для того, чтобы об него спотыкались.

3.6.[14] Только и успеваешь переводить дыхание после приступов суетности и самодовольства. Вакханалия при чтении этого рассказа в «Юде». Как белка в колесе. Блаженство движения, отчаяние узости, безумие длительности, чувство собственного ничтожества перед покоем снаружи. Все это одновременно и поочередно — и еще в нечистотах исхода.

3.7. Блаженство солнечного луча.

3.8. Слабая память на детали и на эволюцию собственного мировосприятия — очень дурной знак. Только какие-то осколки целого. Как ты собираешься хотя бы прикоснуться к самым большим задачам, хотя бы почувствовать их близость, хотя бы только во сне их увидеть, только сон о них выпросить, как ты посмеешь изучать буквы этой просьбы, когда ты не способен так сконцентрироваться, чтобы в решительный момент свое сплоченное целое легло в руку, как камень для броска, как нож для убоя. С другой стороны, не надо поплевывать на руки, пока они не сложены.

3.9. Можно ли думать о чем-то безутешном? Или тем более о безутешном без намека на утешение? По-видимому, решение в том, что познание само по себе есть утешение. Поэтому, наверное, можно было бы думать так: ты должен был устранить себя и, не фальсифицируя этого знания, сохранить сознание того, что познал это. Тогда это в самом деле значило бы вытащить себя из болота за собственные волосы. То, что в телесном мире смешно, в духовном возможно. Там не действует закон всемирного тяготения (ангелы не летают, им никакого тяготения преодолевать не надо, просто мы, наблюдатели земного мира, не умеем это иначе себе представить), что, конечно, для нас невообразимо, — или действует, но только на какой-то высшей ступени. Как бедно мое знание себя по сравнению, допустим, с моим знанием этой комнаты. (Вечер.) Почему? Нельзя наблюдать внутренний мир так, как наблюдают внешний. По крайней мере описательная психология в целом, по всей видимости, есть антропоморфизм, некое обгрызание границ. Внутренний мир допускает только проживание, но не описание. Психология есть описание отражения земного мира в небесной плоскости или, точнее, описание некоего отражения так, как мы, напоенные землей, его себе представляем, ибо отражения вообще не происходит, просто мы видим землю везде, куда бы ни посмотрели.

3.10.[15] Психология есть нетерпение.

Все человеческие ошибки — от нетерпения, от преждевременной перебивки методического, от воображаемой расстановки всех точек над воображаемыми “i”

3.11. Несчастье Дон Кихота — это не его фантазии, а Санчо Панса.

3.12.[16] 20 октября. В постели.

У людей два главных греха, из которых вырастают все остальные: нетерпение и вялость. За свое нетерпение они были изгнаны из рая, а из-за своей вялости они не возвращаются туда. Но может быть, главный грех только один: нетерпение. За нетерпение были изгнаны, из-за нетерпения и не возвращаются.

3.13.[17] Если взглянуть сквозь пелену брэнной суеты, мы находимся в... [см. прим.].

3.14.[18] Многие тени усопших занимаются лишь тем, что лижут волны реки смерти, потому что она берет начало у нас и еще сохраняет соленый вкус наших морей. От брезгливости эта река начинает потом замедлять свое течение, поворачивает вспять и выбрасывает мертвых обратно в жизнь. Но они счастливы, поют благодарственные гимны и гладят возмущенную реку.

По достижении некоторого определенного пункта, возврата назад уже нет. Этого пункта надо достигнуть.

Решающий миг человеческого развития непреходящ. Поэтому революционные духовные движения, объявляющие все прежнее ничтожным, правы, ибо ничего еще не произошло.

3.15. Человеческая история — это секунда между двумя шагами путника.

3.16. Вечером прогулка в Оберклее.

3.17. Извне ты всегда победно расплющиваешь мир теориями — и тут же летишь вместе с ними в выгребную яму; только изнутри ты можешь сохранить покой и истинность в мире и в себе.

3.18.[19] Один из самых действенных соблазнов зла — это вызов на борьбу. Борьба с ним — как борьба с женщинами, которая заканчивается в постели.

Настоящие супружеские походы налево в истинном понимании никогда не радостны.

3.19. 21 октября. В солнечном свете.

3.20. Затухание и затихание голосов мира.

3.21.[20] Будничная путаница

Будничное происшествие, которое выливается в будничную путаницу. А. должен заключить важную сделку с Б. из Х. Он отправляется на

предварительное обсуждение в X., затрачивает по десять минут на дорогу туда и обратно и хвалится дома такой исключительной быстротой. На следующий день он вновь отправляется в X., на этот раз для окончательного заключения сделки. Так как, предположительно, это должно занять много часов, А. выходит ранним утром. Но хотя все привходящие обстоятельства — так, по крайней мере, считает А. — совершенно те же, что и накануне, в этот раз на дорогу в X. он затрачивает десять часов. Когда вечером, усталый, он появляется там, ему говорят, что Б., раздосадованный отсутствием А., с полчаса назад ушел к А. в его деревню и что они, вообще говоря, должны были встретиться по дороге. А. советуют подождать. Но А., испугавшись за сделку, тут же вскакивает и спешит домой.

На этот раз он проделывает тот же путь, не особенно обращая на это внимание, буквально в один миг. Придя домой, он узнаёт, что ведь и Б. тоже пришел очень рано — сразу после ухода А.; более того, он столкнулся с А. в воротах и напомнил ему о сделке, но А. сказал, что у него сейчас нет времени и что ему сейчас спешно нужно уходить.

Б., несмотря на это непонятное поведение А., все-таки остался здесь, чтобы подождать А. Он уже не раз спрашивал, не вернулся ли А., но тем не менее все еще находится наверху, в комнате А. Счастливый тем, что все-таки еще сможет поговорить теперь с Б. и все ему объяснить, А. устремляется вверх по лестнице. Вот он уже почти наверху, и тут он спотыкается. Получив растяжение связок, почти теряя сознание от боли, неспособный даже кричать и лишь тихо скуля в темноте, он слышит, как Б. — то ли очень далеко, то ли совсем рядом с ним, ему не определить, — яростно топая, спускается вниз по лестнице и исчезает навсегда.

3.22. Дьявольское иногда надевает личину добра или даже полностью перевоплощается в него. Если это остается от меня сокрыто, я, естественно, поддаюсь ему, ибо такое добро привлекательнее настоящего. Но если это не остается от меня сокрыто — что тогда? Что, если, затравленный дьявольской облавой, я буду загнан в добро? Что, если от сыплющихся на меня булавочных уколов я в качестве объекта презрения прикачусь, прилеплюсь, прицеплюсь к добру? Что, если будет видно, как когти этого добра впиваются в меня? Отступив на шаг назад, я податливо и печально повлекусь ко злу, которое все это время было за моей спиной и ожидало моего решения.

3.23. [Жизнь.] Какая-то местами уже гниющая вонючая сука, нарожавшая кучу щенков, которая, однако, в детстве была для меня всем, которая верно следует за мной повсюду, которую я не нахожу в себе сил прибить, от которой я пячусь спиной шаг за шагом и которая, если я не решусь на что-то иное, все-таки загонит меня по стенке в уже недалекий угол, чтобы там, на мне и со мной, разложиться полностью, до конца; не честь ли это — гниное, червивое мясо ее языка на моей руке?

3.24. Зло иногда преподносит сюрпризы. Вдруг оно оборачивается и говорит: «Ты меня неправильно понял», и, возможно, это действительно так. Зло оборачивается твоими губами, позволяет обкусать себя твоим зубам, и вот, новыми губами — никакие прежние не подходили так хорошо к твоему прикусу — ты, к своему собственному удивлению, произносишь добрые слова.

3.25.[21] Правда о Санчо Пансе

Санчо Пансе, который, кстати, никогда этим не хвастался... [см. прим.].

3.26. 22 октября. Пять часов утра.

3.27. Одно из важнейших действий Дон Кихота — более навязчивое, чем борьба с мельницами, — это самоубийство. Мертвый Дон Кихот хочет убить мертвого Дон Кихота, но для того, чтобы убить, ему нужно отыскать какое-то живое место, и он ищет его своим мечом, столь же неотступно, сколь и тщетно. Занятые этим, катятся два неразделимых мертвеца, буквально как живое перекаати-поле, сквозь времена.

3.28. До полудня в постели.

3.29.[22] А. очень самодоволен: он полагает, что далеко продвинулся по стезе добра, поскольку, становясь, очевидно, все более соблазнительным объектом, чувствует, что подвергается все большим искушениям с разных сторон, до сих пор совершенно ему неизвестных. Правильное объяснение, однако, состоит в том, что в него вселился большой бес, и теперь приходит бесчисленное множество более мелких, чтобы служить этому Большому.

3.30. Вечером — в лесу, новолуние, за спиной — сумбурный день. (Открытка от Макса.) Неважно с желудком.

3.31.[23] Различие взглядов, которые можно иметь, к примеру, на яблоко: взгляд маленького мальчика, которому приходится вытягивать шею, чтобы только-только увидеть яблоко на столе, и взгляд хозяина дома, который берет это яблоко и легко передает соседу по столу.

3.32. 23 октября. Рано лег.

3.33.[24] Молчание сирен Доказательство того, что... [см. прим.].

3.34. Вечер перед похоронами эпилептика, захлебнувшегося в источнике.

3.35. «Познай самого себя» не означает «следи за собой». «Следи за собой» — слова змея. Они означают: стань хозяином своих поступков. Следовательно, эти слова означают: «Не создавай себя! Разрушай себя!» — то есть нечто злое. И только если очень низко склонись, то услышишь в них и доброе, которое звучит так: «Чтобы стать тем, кто ты есть».

3.36. 25 октября. Печаль, нервы, телесное недомогание, страх перед Прагой; в постели.

3.37.[25] Было когда-то такое общество мошенников... [см. прим.].

3.38.[26] Первым признаком начинающегося познания является желание умереть. Эта жизнь кажется невыносимой, какая-то другая — недостижимой. И уже больше не стыдятся желаний умереть и просят перевести из старой ненавистной камеры в какую-нибудь новую, которую еще только будут учиться ненавидеть. Способствует этому и остаток веры в то, что во время перевода случайно пройдет по

коридору Господин, который посмотрит на заключенного и скажет: «Этого больше не заирать. Я возьму его к себе».

3.39. 3 ноября. Дорога в Оберклее. Вечером писать в комнате Оттлы и Т.

3.40.[27] Если бы ты шел по равнине и, несмотря на свое желание двигаться вперед, все же отступал назад, ты оказался бы в отчаянном положении, но поскольку ты карабкаешься вверх по крутому склону — примерно такому крутому, какой ты сам видел снизу, — то твои отступления могут быть вызваны уже только рельефом поверхности, и тебе не надо отчаиваться.

3.41.[28] 6 ноября. Как дорожка осенью: только расчистил ее, а она уже снова покрылась палой листвой.

Клетка вышла на поиски птички.

3.42.[29] 7 ноября. (Рано лег, после «просвищенного» вечера.)

3.43. Когда тебе в душу вонзается меч, твоя задача: смотреть спокойно, не кровоточить, принимать холод меча с холодностью камня. И благодаря этому удару стать после него неуязвимым.

3.44.[30] В этом месте я еще никогда не бывал: иначе дышится, и рядом с солнцем, затмевая его, горит какая-то звезда.

3.45. 9 ноября. В Оберклее.

3.46.[31] Если бы было возможно построить Вавилонскую башню, не поднимаясь на нее, это было бы позволено.

3.47. 10 ноября. Постель.

3.48.[32] Не позволяй злу убедить тебя, что ты можешь иметь от него секреты.

Леопарды врываются в храм и, вылакав все из жертвенных сосудов, опустошают их; так повторяется снова и снова, в конце концов это уже можно предсказать заранее, и это становится частью церемонии.

3.49.[33] Волнения (Блюэр, Таггер).

3.50. 12 ноября. Долго валялся; защита.

3.51.[34] Так же крепко, как рука сжимает камень. Но она так сжимает его только для того, чтобы забросить подальше. Однако дорога приведет и в эту даль.

Ты — задача. Но не видно, кому ее решать.

От настоящего противника заражаешься безграничным мужеством.

Счастье понимать, что основание, на котором ты стоишь, не может быть больше того, что покрывают две твои ступни.

Как можно радоваться этому миру — если только ты не убегаешь в него?

3.52. 18 ноября.

3.53.[35] Убежищ бесконечно много, спасение — только одно, но возможностей спасения вновь так же много, как и убежищ

Есть цель, но нет пути; то, что мы называем путем, это колебание.

Создавать негативное — эта задача еще возложена на нас; позитивное нам уже дано.

3.54. Три крестьянина на повозке медленно въезжали в темноте на пригорок. Какой-то незнакомец вышел им навстречу и окликнул их. После короткого обмена репликами выяснилось, что незнакомец просит подвезти его. Седоки, подвинувшись, втащили его наверх. И, уже тронувшись дальше, спросили:

— Вы ведь шли с той стороны, а теперь, значит, едете обратно туда же?

— Да, — ответил незнакомец, — я двигался сначала в ту же сторону, что и вы, но потом повернул назад, так как стемнело раньше, чем я ожидал.

3.55. Ты жалуешься на молчание, на безнадежность этого молчания, этой стены добра.

3.56. Терновник — это древний шлагбаум, преграждающий путь; если ты хочешь идти дальше, он должен гореть огнем.

3.57. 21 ноября. За негодным объектом могут скрываться негодные средства.

3.58.[36] Когда ты уже впустил к себе зло, оно больше не требует, чтобы ты ему верил.

Тайные мысли, с которыми ты впускаешь к себе зло, это не твоя тайна, это тайна зла.

Тварь вырывает у Господина плетку и хлещет себя сама, чтобы стать Господином, не зная, что это лишь фантазия, порожденная новым узлом на хвосте плетки Господина.

- 3.59. Зло — это то, что отвлекает.
- 3.60. Зло знает добро, но добро зла не знает.
- 3.61. К самопознанию способно только зло.
- 3.62. Один из инструментов зла — диалог.
- 3.63. Основатель приносил от законодателя законы, а верующие должны эти законы оглашать законодателю.
- 3.64. Является ли факт существования религий доказательством того, что отдельный человек не может быть длительно привержен добру? Основатель отрывает себя от добра, воплощает себя. Делает ли он это во имя ближнего — или полагая, что сможет остаться с ближним только будучи таким же, как и тот, в то время как этот «мир» он должен разрушить, иначе ему пришлось бы его полюбить?
- 3.65.[37] Добро в известном смысле безутешно.
- 3.66. Тот, кто верит, не может увидеть чуда. Днем звезд не видно.
- 3.67. Творящий чудеса говорит: я не могу оставить эту землю.
- 3.68. Правильно распределить веру между своими собственными словами и убеждениями. Не дать убеждению испариться в тот миг, когда ты о нем узнаешь. Не перекидывать на слова ответственность, которую налагают убеждения. Не позволять словам красть убеждения; соответствие слов и убеждений — еще не решающее доказательство, в частности, и добросовестности. Будут ли такие-то слова обнаруживать такие-то убеждения или хоронить их — это все еще зависит от обстоятельств.
- 3.69. Высказывание, в принципе, не означает некое ослабление убеждения — на это не надо сетовать, — но означает некую слабость убеждения.
- 3.70.[38] К самообладанию я не стремлюсь. Самообладание означает желание действовать в каком-то случайном месте бесконечного диапазона моего духовного существования. Но если я должен очертить вокруг себя такой круг, то лучше я сделаю это пассивно, простым созерцанием чудовищных комплексов, и уйду домой, поддерживаемый лишь тем, что это зрелище вызовет во мне e contrario.[39]
- Вороны утверждают, что одна-единственная ворона может разрушить небо. Это не подлежит сомнению, но в отношении неба ничего не доказывает, ибо небо как раз и означает невозможность ворон.
- Мученики не склонны недооценивать тело, они позволяют возвысить его на кресте. В этом они едины со своими противниками.
- Его усталость — это усталость гладиатора после боя; его работой была побелка одного угла в одном присутственном месте.
- 3.71. 24 ноября. Человеческое суждение о человеческих поступках истинно и ничтожно, и именно вначале истинно, а затем ничтожно.
- Через правую дверь ближние врываются в комнату, где проходит семейный совет, подхватывают последнее слово последнего из выступавших, устремляются с этим словом через левую дверь в мир и выкрикивают свое суждение. Их суждение об этом слове истинно, их суждение как таковое ничтожно. Однако, если бы они захотели, чтобы их суждения были окончательной истиной, им пришлось бы остаться в этой комнате навсегда, стать участниками этого семейного совета и тем самым, разумеется, опять-таки неспособными судить.
- 3.72. Действительно судить о деле может лишь участвующий в нем, но как соучастник в деле судить о нем он не может. Поэтому в мире существует не возможность суждения, а лишь ее проблески.
- 3.73.[40] Нет никакого обладания, есть только бытие — только это жаждущее последнего вздоха, жаждущее задохнуться бытие.
- Раньше я не понимал, почему я не получаю ответов на свои вопросы; сегодня я не понимаю, как я мог думать, что можно спрашивать. Но я ведь и не думал, я просто спрашивал.
- Его ответом на утверждение, что он, может быть, владеет, но не существует, было только содрогание и сердцебиение.
- 3.74. Целибат и самоубийство находятся на сходных ступенях познания, самоубийство и мученическая смерть — нет; скорее, брак и мученическая смерть.
- 3.75.[41] Некто удивлялся тому, как легко ему идти по пути вечности, а он просто неслился по нему вниз.
- 3.76. Добрые идут в ногу. Прочие, не зная о них, пляшут вокруг них в плясках времени.
- 3.77.[42] Злу нельзя заплатить в рассрочку — и это без конца пытаются делать.
- Можно было бы представить, что Александр Великий, несмотря на военные успехи своей юности, несмотря на отличную, обученную им армию, несмотря на силу, направленную на изменение мира, которую он в себе чувствовал, мог остановиться у Геллеспонта и никогда его не перейти — и не под действием страха, нерешительности, слабости, а под действием земной тяжести.
- 3.78. Восторженный и пьяный оба взмахивают руками. Первый выражает этим единение со стихией, второй — спор с ней.
- 3.79.

Содержания я не знаю,

ключа я не имею,

слухам я не верю,

все это понятно,

ведь это — я сам.

3.80. 25 ноября.

3.81.[43] Путь бесконечен, тут ничего не отнять и ничего не прибавить, и все-таки каждый прибавляет к нему еще свой детский аршин. «Разумеется, ты должен пройти еще и этот аршин пути, это тебе зачтется».

Страшный суд отделен от нас только нашим понятием времени, а ведь это, собственно говоря, военно-полевой суд.

3.82. 26 ноября. Тщеславие уродует и, значит, вообще говоря, должно было бы умерщвлять себя; вместо этого оно лишь уязвляет себя и становится «уязвленным тщеславием».

3.83.[44] Несоразмерности этого мира, кажется, носят лишь количественный характер; это утешительно.

3.84.[45] Вечер. Опустить на грудь голову, полную отвращения и ненависти. Конечно, но что, если тебя схватили за горло и душат?

3.85. 27 ноября. Читать газеты.

3.86. Мессия придет, как только станет возможен самый необузданный индивидуализм веры, — никто такой возможности не уничтожит, никто такого уничтожения не потерпит, и, следовательно, могилы раскроются. Возможно, в этом и заключается христианское учение — как в фактической демонстрации (индивидуалистического) примера, которому надлежит следовать, так и в символической демонстрации воскресения посредника в отдельном человеке.

3.87. Верить — значит освободить в себе неразрушимое, или, вернее, освободить себя, или, вернее, быть неразрушимым, или, вернее, быть.

3.88. Праздность — мать всех пороков и дочь всех добродетелей.

3.89.[46] Гонимые еще играют во дворе, но дичи не уйти, как ни мчится она уже сейчас по лесам.

Смешно ты захохотался для этого мира.

Чем больше лошадей ты запряжешь, тем быстрее пойдет — не вырывание блоков из фундамента, что невозможно, а обрывание ремней и, вместе с тем, — пустая веселая поездка.

3.90. Разные формы безнадежности при разных остановках в пути.

3.91.[47] Слово «sein» имеет в немецком языке два значения: «быть» и «принадлежать ему».

3.92. 2 декабря.

3.93.[48] Они были поставлены перед выбором: стать королями или королевскими вестниками. Все по-детски захотели стать вестниками. Поэтому существуют одни только вестники, они носятся по свету и, поскольку королей нет, от себя выкрикивают друг другу ставшие бессмысленными известия. Они бы с удовольствием покончили с этой жалкой жизнью, но не решаются, поскольку давали присягу служить.

3.94. 4 декабря. Бурная ночь, утром телеграмма от Макса, перемирие в России.

3.95. Мессия придет только тогда, когда уже не будет нужен; он придет только на следующий день после того, как будет возведен его приход; он придет не в последний день, а в самый последний.

3.96.[49] Верить в прогресс не значит верить в то, что какой-то прогресс уже произошел. Это не было бы верой.

А. — виртуоз, чему свидетель — Небо.

3.97. 6 декабря. Забой свиней.

3.98. Три действия: посмотреть на себя как на что-то незнакомое, вид забыть, взгляд сохранить.

Или — только два, ибо третье включает второе.

3.99. Зло — это звездное небо добра.

3.100. 7 декабря.

3.101.[50] Человек не может жить без длительного доверия к чему-то неразрушимому в себе, причем как это неразрушимое, так и это

двери могут длительно оставаться скрытыми от него. Одно из возможных проявлений того, что они остаются скрыты, — вера в некоего персонального бога.

3.102. Небо немое, оно — лишь эхо немоты.

3.103.[51] Посредничество змея было необходимо: зло может соблазнить человека, но не может стать человеком.

3.104. 8 декабря. Постель, запор, боль в спине, вечернее раздражение, кошка в комнате, разбитость.

3.105.[52] В дуэли между тобой и миром будь секундантом мира.

Ни у кого нельзя красть победу — даже у мира.

Нет ничего, кроме духовного мира: то, что мы называем чувственным миром, — это зло в духовном мире, а то, что мы называем злом, — это лишь необходимость момента нашего вечного развития.

Самым сильным светом можно разъединить этот мир. Для слабых глаз он приобретает прочность, для слабейших у него появляются кулаки, а под взглядом еще более слабых он становится стыдлив и раздавливает того, кто смеет в него всматриваться.

Искать минимальную меру обмана, оставаться в пределах обычного, искать высшую меру — все предательство. В первом варианте предаешь добро, желая слишком легко его приобрести, и зло, предлагая ему слишком невыгодные условия для борьбы. Во втором варианте предаешь добро тем, что фактически не стремишься к нему даже в земном. В третьем варианте предаешь добро, удаляясь от него как можно дальше, и зло, надеясь предельным его увеличением сделать его бессильным. Таким образом, в силу вышеизложенного следует предпочесть второй вариант, поскольку добро предаешь всегда, зло же в этом варианте — по крайней мере внешне — не предаешь.

Есть проблемы, с которыми мы не смогли бы справиться, если бы природа не освободила нас от них.

В сравнениях, даже и приблизительных, язык может использоваться только в чувственном мире, а вне его — только в намеках, поскольку он, соответствуя чувственному миру, говорит только о владении и отношениях владения.

Лгут меньше всего только тогда, когда меньше всего лгут, а не тогда, когда имеют для этого меньше всего возможностей.

3.106. Если я говорю ребенку: «Вытри рот и тогда получишь пирог», то это не значит, что пирог будет заслужен вытиранием рта, ибо вытирание рта несопоставимо с ценностью пирога; это также не делает вытирание рта предпосылкой съедания пирога, ибо, независимо от незначительности подобного условия, ребенок получит пирог в любом случае, поскольку пирог — неотъемлемая составная часть его обеда; мое замечание, таким образом, не затрудняет, а облегчает выдачу пирога; вытирание рта есть нечто полезное маленькое, предшествующее большому — поеданию пирога.

3.107. 9 декабря. Вчера пляска по случаю гуляний.

3.108.[53] Ступенька лестницы, не истертая шагами, с ее собственной точки зрения, — просто нечто бессмысленно сколоченное деревянное.

3.109. Наблюдающий за душой не может проникнуть в нее, но, очевидно, существует некая пограничная полоса, в которой он прикасается к ней. Сознание этого прикосновения таково, что и душа не знает самой себя. Она, таким образом, должна остаться неизвестной. Это было бы печально только в том случае, если бы было еще что-то другое, кроме души, но ничего другого нет.

3.110.[54] Если ты отказываешься от мира, ты должен любить всех людей, ведь ты отказываешься и от их мира. И ты начинаешь догадываться об истинной человеческой природе, которую можно исключительно и только любить, в предположении, что она равна твоей.

Тот, кто в этом мире возлюбит своего ближнего, будет не более и не менее неправ, чем тот, кто в этом мире возлюбит самого себя. Если бы еще только оставался вопрос, возможно ли первое.

Тот факт, что не существует ничего, кроме духовного мира, отнимает у нас надежду и дает нам уверенность.

3.111. 11 декабря. Вчера старший инспектор. Сегодня «Дер Юде». Штейн: Библия — Писание, мир — писание.

3.112.[55] Наше искусство есть некое состояние ослепления истиной: свет на отстраняющемся сморщенном лице — это свет истины, и это всё.

3.113. Не каждый способен увидеть истину и не умереть.

3.114.[56] Изгнание из рая в главной своей части вечно; следовательно, хотя это изгнание окончательно и жизнь в этом мире неизбежна, но вечность процесса (или, во временном выражении: вечное повторение этого процесса) создает тем не менее возможность того, что мы не только могли бы долго оставаться в раю, но и действительно долго там пребываем, — не важно, знаем мы здесь об этом или нет.

3.115. Каждому мгновению соответствует и нечто вневременное. За посясторонним не может следовать потустороннее, ибо потустороннее вечно и, следовательно, не может соприкасаться во времени с посясторонним.

3.116. 13 декабря. Развлеченный журналом «Шёне Раритет» и газетами, начал Герцена.

3.117. Кто ищет, тот не находит, кто не ищет, тот будет найден.

3.118. 14-е. Вчера, сегодня — наихудшие дни. Наполнение: Герцен, письмо д-ру Вайсу[57], прочее не поддается объяснению. Тошнотворная еда: вчера свиньячья нога, сегодня — хвост. Дорога в Михелоб через парк.

3.119.[58] Он — свободный и обеспеченный гражданин земли, потому что цепь, на которую он посажен, достаточно длинна, чтобы для него были доступны все земные пространства, и все же лишь настолько длинна, чтобы ничто не могло перетянуть его через границу земного. Но в то же время он — свободный и обеспеченный гражданин неба, потому что посажен и на аналогично рассчитанную небесную цепь. И теперь, когда он хочет на землю, его душит небесный ошейник, хочет на небо — его душит земной. Тем не менее он сохраняет все возможности и чувствует это; более того, он даже отказывается объяснять все это ошибкой первой посадки на цепь.

3.120.[59] 15 декабря. Письма от д-ра Кернера, от Вацлава Меля, от матери.

3.121. Здесь ничего не решится, но испытать свою способность решать можно только здесь.

3.122.[60] 17 декабря. Пустые дни. Письма Кернеру, Пфолю, Пршибраму, Кайзеру, родителям.

3.123. Негр, доставленный со всемирной выставки домой обезумевшим от тоски по дому, посреди своей деревни, под причитания племени, с серьезнейшим лицом, словно выполняя свою миссию и свой долг, пересказывает те шутки, которые приводили в восхищение европейскую публику как свидетельства африканских нравов и обычаев.

3.124. Самозабвение и самосохранение искусства: бегство подается как прогулка или даже как наступление.

3.125. Письма Ван Гога.

3.126.[61] Он бежит за фактами, как начинающий конькобежец, который к тому же упражняется в запретной зоне.

3.127. 19 декабря. Вчера известие о визите Ф.[62], сегодня один в моей комнате, на той стороне дымит печь; ходил с Натаном Штейном в Царх; как он толковал крестьянке, что мир — это театр!

3.128.[63] Что может быть веселее веры в какого-нибудь домашнего бога!

3.129. Это падение по отношению к истинному познанию, и это детски-счастливый подъем.

3.130.[64] Теоретически возможность полного счастья существует: надо верить в неразрушимое в себе и не стремиться к нему.

3.131. 21 декабря. Телеграфировал Ф.

3.132. Первым домашним животным Адама после изгнания из рая был змей.

3.133. 22 декабря. Прострел, ночные подсчеты.

3.134. 23 декабря. Удачная и отчасти пресная поездка. Много услышал.

3.135. Плохо спал, напряженный день.

3.136.[65] Неразрушимое — это единое; это каждый отдельный человек и в то же время это все вместе; поэтому столь беспримерно неразъединима связь людей.

3.137. В раю, как везде: что порождает грех, то его и осуждает. Чистая совесть — это зло, которое так победительно, что даже не считает нужным этот перескок слева направо.

3.138. Заботы, под тяжестью которых привилегированный извиняется перед угнетенным, это именно заботы о сохранении привилегий.

3.139.[66] В одном и том же человеке существуют знания, которые, полностью различаясь, имеют тем не менее один объект, так что вновь приходится делать вывод о существовании различных субъектов в одном и том же человеке.

3.140. 25, 26, 27 декабря. Отъезд Ф. Плакал. Все тяжело, несправедливо и все-таки правильно.

3.141.[67] Он подбирает объедки, упавшие с собственного стола; благодаря этому он, правда, в течение какого-то времени насыщается больше всех, однако отучается есть наверху, за столом, а из-за этого потом кончаются и объедки.

3.142. 30 декабря. Не слишком разочарован.

3.143.[68] Если то, что в раю должно было быть разрушено, было разрушено, то это не было определяющим, если же это было неразруσιμο, то мы живем в ложной вере.

3.144. 2 января. Несомненность учителя характеризуется истинностью, ученика — продолжительностью.

3.145.[69] Испытай себя на человечестве. Сомневающегося оно заставит усомниться, верующего — поверить.

3.146.[70] Завтра уезжает Баум.

3.147.[71] Это чувство: «я здесь якорь не бросаю», — и тут же почувствовать себя в реуцеме, несущем потоке.

Инверсия. Ожидая, с робкой надеждой, крадучись обходит вопрос ответ, заглядывает в отчаянии в его непроницаемое лицо и следует за ним самыми бессмысленными путями, то есть теми, которые уводят как можно дальше от ответа.

Общение с людьми соблазняет к самонаблюдению.

Дух становится свободным только тогда, когда перестает быть опорой.

3.148. Под тем предлогом, что идет на охоту, он удаляется от дома; под тем предлогом, что не хочет терять дом из виду, он карабкается на самые труднодоступные вершины; не знай мы, что он идет на охоту, мы бы его удержали.

3.149. 13 января. Оскар уехал с Оттлой, дорога на Эйшвиц.

3.150.[72] Чувственная любовь обманывает, являясь небесной; сама по себе она бы этого не смогла, но так как она, не сознавая того, несет в себе стихию небесной любви, то она это может.

3.151. 14 января. Хмур, слаб, нетерпелив.

3.152.[73] Есть только правда и ложь, третьего нет.

Правда неделима, следовательно, сама себя познать не может; тот, кто хочет ее познать, должен быть лжив.

3.153. 15 января. Нетерпелив. Улучшение, ночная прогулка в Оберклее.

3.154.[74] Никто не может желать того, что ему в конечном счете вредит. И если складывается впечатление, что отдельные люди все-таки это делают — а такое впечатление, по-видимому, складывается постоянно, — то объясняется это тем, что нечто в человеке желает чего-то такого, что этому Нечто хоть и полезно, но какому-то второму Нечто, отчасти привлекаемому для оценки данного случая, наносит серьезный вред. Если бы человек с самого начала, а не только уже при этой оценке, встал на сторону второго Нечто, первое Нечто исчезло бы, и с ним — само желание.

3.155. 16 января. По собственной воле, как какой-то Фауст, он повернулся-обернулся — и избежал этого мира.

3.156. Ни одной капли не перелито и ни одной больше не влить.

3.157. То, что наша задача точно так же велика, как и наша жизнь, бросает на последнюю отблеск бесконечности.

3.158.[75] Почему мы жалуемся по поводу грехопадения? Не из-за него мы были изгнаны из рая, а из-за древа жизни, — чтобы мы с него не ели.

3.159. 17 января

3.160.[76] Прометей

О Прометее есть четыре легенды. Согласно первой, он, предавший... [см. прим.].

3.161. Закон кадрили ясен, его знают все танцоры, он действителен на все времена. Однако в силу каких-то случайностей жизни, которых вообще не должно было бы возникать, но которые возникают вновь и вновь, ты остаешься один между рядами. Возможно, это вносит сумятицу и в сами ряды, но ты этого не знаешь, ты знаешь только свое несчастье.

3.162. 17 января. Дорога в Оберклее. Ограничение.

3.163. В дьяволе все еще уважать дьявола.

3.164. 18 января. Вопль: если я буду вечным, каким я буду завтра?

3.165. Мы отделены от Бога с обеих сторон: грехопадение отделяет нас от Него, древо жизни отделяет Его от нас.

3.166.[77] Мы грешны не только потому, что вкусили от древа познания, но еще и потому, что до сих пор не вкусили от древа жизни. Греховно состояние, в котором мы пребываем, — вне зависимости от вины.

3.167. Древо жизни — владыка жизни.

3.168. Мы были изгнаны из рая, но он не был уничтожен. Изгнание из рая было в каком-то смысле счастьем, ибо, если бы мы не были изгнаны, рай пришлось бы уничтожить.

3.169.[78] Мы были созданы, чтобы жить в раю, и рай был предназначен служить нам. Наше предназначение было изменено, но о том, что это же произошло с предназначением рая, нигде не говорится.

3.170. До самого конца сказания о грехопадении сохраняется возможность того, что вместе с человеком был проклят и сад Эдема... Прокляты только люди, сад Эдема — нет.

3.171. Бог сказал, что Адам должен умереть в тот день, когда вкусит от древа познания. То есть, согласно Богу, немедленным следствием вкушения от древа познания должна была стать смерть, согласно же змею (по крайней мере, так можно было его понять), — достижение богоравенства. Оба были сходным образом неправы. Люди не умерли, но стали смертны; они не стали богоравными, однако

получили некую необходимую способность стать таковыми. Оба были сходным образом правы. Умер не человек, но человек рая; люди не стали как боги, но они стали божественным познанием.

3.172. Безутешный горизонт злого: уже в познании добра и зла ему видится богоравенство. Проклятие, кажется, ничего не ухудшило в его существе: длину пути он будет измерять брюхом.

3.173.[79] Зло есть некое излучение человеческого сознания в определенных переходных состояниях. Видимость — это, собственно, не чувственный мир, а его зло, которое, правда, для наших глаз и образует чувственный мир.

3.174. 22 января. Попытка сходить в Михелоб. Грязь.

3.175.[80] В наших способностях познания добра и зла мы, собственно, те же, что и во времена грехопадения, тем не менее именно здесь мы ищем наши особые преимущества. Однако истинные различия начинаются по ту сторону этого познания. Противоположное впечатление вызывается следующим:

Человек не может удовлетвориться только познанием, он должен стремиться и действовать соответственно. Но силы для этого не дано, поэтому он вынужден разрушать себя, даже рискуя тем, что необходимой силы все равно не получит, однако ничего другого, кроме этой последней попытки, ему не остается. (В этом и заключается смысл угрозы смерти при запрете вкушать от древа познания; возможно, в этом — и первоначальный смысл естественной смерти.) И вот такой попытки человек страшится, он предпочел бы вернуть назад это знание добра и зла (обозначение «грехопадение» восходит к этому страху),[81] но происшедшее вернуть назад нельзя, его можно только затуманить. Этой цели служат возникающие мотивации; весь мир заполнен ими. Более того, весь видимый мир — это, может быть, не что иное, как некая мотивация человека, ищущего мгновения покоя. Попытка сфальсифицировать факт познания, сделав для начала познание целью.

3.176. Под всяким дымом — огонь, но того, кто видит вокруг только темный дым, это не удержит на месте, если у него горят ноги.

3.177. Мы в изумлении смотрели на эту гигантскую лошадь. Головой она пробила крышу над нашей комнатой. Облачное небо лениво обтекало могучие контуры, и с шелестом развевалась на ветру грива.

3.178. Точки зрения искусства и жизни даже в самом художнике различны.

3.179. Искусство порхает вокруг истины, однако решительно не настроено на самопожирение. Художественное умение состоит в том, чтобы в темной пустоте отыскать, не зная его заранее, такое место, в котором можно цепко поймать луч света.

3.180.[82] Вера — как нож гильотины: так же тяжела, так же легка.

Смерть стоит перед нашими глазами примерно так же, как картина с изображением битвы Александра на стене в школьном классе. Задача в том, чтобы нашими делами еще в этой жизни затемнить или совсем стереть эту картину.

3.181. Утренние сумерки 25 января.

3.182. Самоубийца — это заключенный, который видит, как во дворе тюрьмы устанавливают виселицу, ошибочно решает, что она предназначена для него, выбирается ночью из своей камеры, спускается во двор и вешается сам.

3.183. Познание нам дано. И тот, кто слишком о нем печется, вызывает подозрения: уж не затевает ли он что-то против познания?

3.184. Перед тем как вступить в святая святых, ты должен сбросить башмаки, но не только башмаки, а все: ночь, и походную одежду, и наготу под ней, и все то, что под наготой, и все, что спряталось уже под этим, и потом — твою сердцевину, и сердцевину сердцевины, и потом — все прочее, и потом — остатки, и потом еще — видимость неугасимого огня. Святая святых питается только самим огнем — и позволяет ему питаться собой: противостоять этому не может ни одна из сторон.

3.185. Не самоосвобождение, а самопоедание.

3.186. За грехопадение были возможны три наказания: самым мягким было осуществленное — изгнание из рая, другим — уничтожение рая, а третьим — и это было бы самым ужасным наказанием — запрет вечной жизни при оставлении без изменений всего остального.

3.187. 28 января. Суетность, самозабвение нескольких дней.

3.188.[83] Две возможности: выставить себя бесконечно ничтожным или быть таким. Второе — это завершение, значит, бездеятельность, первое — начало, значит, дело.

Во избежание путаницы в словах: то, что должно быть разрушено в работе, должно до этого сохраняться очень прочным, а то, что раскрошено, то раскрошено и уже не может быть разрушено.

3.189. А. не мог ни дружно жить, ни [разойтись] с Г., поэтому он застрелился; он думал, что таким образом сможет соединить несоединимое, и именно «уединиться в беседке» с самим собой.

3.190. Слова «Если... то ты должен будешь умереть» означают, что познание «обоюдосто»: это и ступень к вечной жизни, и препятствие на пути к ней. Если после обретенного познания ты пожелаешь достичь вечной жизни — а ты и не сможешь не пожелать ее, ибо познание и есть это желание, — тебе придется разрушить препятствие, чтобы выстроить ступень, то есть само это разрушение. Таким образом, изгнание из рая было не деянием, а происшествием.

Четвертая тетрадь

4.1.[84] Возлагая на себя слишком большую или даже всю ответственность, ты подавляешь себя. Первым поклонением идолам был, конечно, страх перед вещами — но и связанный с этим страх перед необходимостью вещей — и связанный с этим страх ответственности за вещи. Эта ответственность представлялась столь чудовищной, что ее даже не посмели возложить на нечто единственное нечеловеческое, потому что даже посредничество какого-то одного существа еще не достаточно облегчило бы человеческую ответственность, связь только с одним существом была бы еще слишком запятнана ответственностью, поэтому всем вещам приписали ответственность за самих себя, более того, этим вещам приписали еще и пропорциональную ответственность за человека. Создавались все новые и новые противовесы; этот наивный мир был самым сложным из всех, когда-либо существовавших, в полной мере его наивность проявлялась исключительно в его жестокой последовательности.

4.2. Если вся ответственность возложена на тебя, ты можешь пожелать воспользоваться моментом, чтобы пасть под грузом этой ответственности, однако, если ты предпримешь такую попытку, ты обнаружишь, что на тебя ничего не возложено, но что эта ответственность — ты сам.

4.3. Атлант мог придерживаться того мнения, что он вправе, когда захочет, сбросить эту Землю и без шума уйти, но ему было позволено только иметь это мнение — и не более того.

4.4. Видимое спокойствие, с которым следуют друг за другом дни, времена года, поколения, века, — это настороженность; так лошади трусят рысцей перед повозкой.

4.5.[85] 31 января. Садовая работа, безнадежность.

4.6. Борьба, в которой никоим образом и ни на какой стадии не получить поддержки. И хотя ты это знаешь, но постоянно забываешь об этом. И даже если не забываешь, все равно ищешь этой поддержки — только для того, чтобы отдохнуть во время поисков, хотя и знаешь, что заплатишься за это.

4.7.[86] 1 февраля. Письма Ленца.

4.8.[87] Психология — в последний раз!

Две задачи начала жизни: все более ограничивать свой круг и все время перепроверять, не прячешься ли ты где-нибудь за пределами своего круга.

4.9.[88] 2 февраля. Письмо от Вольфа.

4.10.[89] Зло иногда лежит в руке, как инструмент, и, узнали его или не узнали, оно не возражает, чтобы его отложили, если есть желание, чтобы оно было под рукой.

Радости этой жизни суть не ее собственные, но наш страх перед восхождением в некую высшую жизнь; мучения этой жизни суть не ее собственные, но наше самомучительство из-за этого страха.

4.11. 4 февраля. Долго валялся, бессонница, постепенное осознание борьбы.

4.12. В мире лжи ложь вытесняется из мира не своей противоположностью, а только миром правды.

4.13.[90] Страдание есть позитивный элемент этого мира, более того, оно — единственное, что связывает этот мир с позитивным.

Только здесь страдание — страдание. Не в том смысле, что якобы те, кто здесь страдает, благодаря этому страданию где-то должны быть возвышены, а в том, что нечто, называемое в этом мире страданием, в каком-то другом мире — не претерпевшее изменений и лишь освобожденное от своей противоположности блаженство.

4.14. 5 февраля. Хорошее утро, невозможно обо всем вспоминать.

4.15. Задача разрушения этого мира возникла бы лишь в том случае, если бы, во-первых, он был злом, то есть чем-то противоречащим нашему здравому смыслу, и, во-вторых, если бы мы были в состоянии его разрушить. Первое соответствует нашим представлениям, а второе мы не способны. Мы не можем разрушить этот мир, потому что не построили его как нечто самостоятельное, а попали в него, заблудившись; более того: сам этот мир и есть наше заблуждение и как таковое — нечто неразрушимое или, скорее, нечто такое, что может быть разрушено не отречением, а только доведением до конца, при том, правда, что и доведение до конца может быть только следствием разрушения, но — изнутри этого мира.

4.16. Для нас правда существует в двух видах — так, как она представлена древом познания и древом жизни. Правда деятельных и правда покоящихся. В первой разделяются добро и зло, вторая — это не что иное, как само добро, она не знает ни добра, ни зла. Первая правда дана нам в действительности, вторая — как предчувствие. Это печальный взгляд. А вот веселый: первая правда принадлежит мгновению, вторая — вечности, поэтому первая и гаснет в свете второй.

4.17. 6 февраля. Был во Флехау.

4.18.[91] Представление о бесконечной протяженности и наполненности космоса есть результат доведенного до крайних пределов смешения утомительного творения и свободного самоосознания.

4.19. 7 февраля. Солдат с камнями, остров Рюген.

4.20. Усталость не обязательно означает слабость веры или обязательно? Во всяком случае, усталость означает недовольство. Мне

слишком тесно во всем, что означает «Я», даже та вечность, которой я являюсь, мне тесна. Но если я читаю, к примеру, хорошую книгу, допустим описание какого-нибудь путешествия, это пробуждает меня, освобождает меня, удовлетворяет меня. Вот доказательство того, что прежде я не включал эту книгу в мою вечность или не мог пробиться к предчувствию той вечности, которая с необходимостью охватывает также и эту книгу. — Усталость, недовольство, стеснение, презрение к самому себе должны исчезать, начиная с какой-то определенной ступени познания, и именно там, где я обрету способность познать как мое собственное существо то, что прежде как нечто чуждое освежало, удовлетворяло, освобождало и возвышало меня.

Но что, если оно оказывало такое воздействие лишь в своем мнимом качестве чуждого и ты со своим новым познанием не только ничего в этом смысле не приобретаешь, но еще и лишишься всякого утешения? Конечно, оно оказывало такое воздействие лишь в качестве чуждого, но не только такое, — его воздействие было сильнее и подняло меня на эту более высокую ступень. Оно не перестало быть мне чуждым, но, помимо этого, оно начало быть моим «Я». — Но то чуждое, которое есть ты, уже более не чуждо. Таким образом, ты отрицаешь сотворение мира и противоречишь самому себе.

4.21. Я должен был бы приветствовать единство, а я, находя его, впадаю в тоску. Я должен был бы благодаря этому единству ощущать себя совершенным, а я ощущаю себя придавленным?

Ты говоришь «я должен был бы ощущать», этим ты выражаешь какую-то заповедь, которая в тебе живет?

Да, я так полагаю.

Но ведь не может же быть, чтобы в тебя была вложена только одна заповедь — так, чтобы ты слышал одну только эту заповедь и больше ничего не происходило. Эта заповедь постоянная или только временная?

Этого я не могу решить, однако думаю, что она постоянная, но я слышу ее только временами.

Из чего ты это заключаешь?

Из того, что я в известном смысле слышу ее даже тогда, когда я ее не слышу, то есть таким образом, что она сама не слышна, но приглушает или постепенно отравляет противоречащий ей голос, именно тот, который внушает мне отвращение к единству.

А слышишь ты аналогичным образом этот голос противоречия тогда, когда в тебе звучит заповедь единства?

Да, и тогда тоже, временами мне даже кажется, что я вообще ничего не слышу, кроме этого голоса противоречия, а все остальное как бы только сон, и я позволяю ему примешиваться к звукам дня.

Почему ты сравниваешь внутреннюю заповедь с каким-то сном? Разве она кажется тебе такой же бессмысленной, бессвязной, неизбежной, возникающей один раз, беспричинно радующей или пугающей, полностью невыразимой и стремящейся к выражению?

Все так: она кажется бессмысленной, потому что я могу здесь выжить, только если я ей не следую; кажется бессвязной — я не знаю, кто дал эту заповедь и на что она направлена; кажется неизбежной — она застает меня неподготовленным и так же внезапно, как сны застают спящего, который все же должен быть готов к снам, раз он лег спать. Она возникает один раз — так, по крайней мере, кажется, поскольку я не могу ей последовать, — она не смешивается с действительностью и благодаря этому сохраняет свою неприкосновенную однократность; она беспричинно радуется и пугает — правда, первое случается намного реже, чем второе; ее нельзя выразить, потому что она неуловима, и она стремится к выражению по той же причине.

4.22.[92] Христос, мгновение.

4.23. 8 февраля. Скоро встал, возможность работы.

4.24. 9 февраля. Затишье иных дней, шум приближающегося, — и как все наши выбегают из домов его приветствовать, тут и там вывешиваются флаги, все бегут в подвалы за вином, из какого-то окна на мостовую летит роза, всеобщее нетерпение, лодки, разом схваченные сотней рук, врезаются в берег, незнакомые мужчины озираются по сторонам и поднимаются вверх, освещенные всеми местными огнями.

4.25. Почему эта легкость так тяжела? У меня соблазнов...

Да не перечисляй. Легкость тяжела. Именно так легка и так тяжела. Как потешная погоня, в которой единственное место отдыха — дерево по ту сторону мирового океана.

Но почему они оттуда уплыли? — На побережье самый сильный прибой, а границы их существования слишком узки, и им этого не преодолеть.

Если бы ты не задавал вопросов, тебя бы прибило обратно; вопросы унесут тебя еще за один мировой океан. — Так не они уплыли, а ты.

Эта узость будет тяготить меня постоянно.

4.26. Но вечность — это не остановившаяся временность. Что огорчительно в нашем представлении о вечности: непостижимое для нас оправдание, которому должно быть известно время в вечности, и вытекающее отсюда оправдание нас самих, таких, какие мы есть.

4.27.[93] Насколько даже самое слабое убеждение в будущем вечном оправдании нашей временности тяжелее самого беспощадного убеждения в нашем нынешнем греховном состоянии. И только стойкостью, с которой мы переносим первое убеждение — а оно в своей чистоте целиком охватывает второе, — измеряется вера.

Некоторые считают, что, помимо великого предательства, в каждом отдельном случае специально для них устраивается еще особое маленькое предательство, так что, когда на сцене разыгрывают любовную интрижку, актриса, помимо лживой улыбки для своего любовника, изображает еще и некую особо коварную улыбку для совершенно определенного зрителя на последнем ярусе. Это называется заходить слишком далеко.

4.28. 10 февраля. Воскресенье. Шум. Мир на Украине.

4.29. Рассеиваются туманы полководцев и художников, любовников и богачей, политиков и гимнастов, мореплавателей и...

4.30. Свобода и скованность — в существенном смысле одно и то же. В каком существенном смысле? Не в том, что раб не теряет свободу, то есть в известном отношении — свободнее, чем свободный.

4.31. Цепь поколений — это не цепь твоего существа, и тем не менее здесь имеются связи. — Какие? — Поколения уходят, как мгновения твоей жизни. — А в чем различие?

4.32. Это старая шутка: мы держим мир и жалуемся, что он держит нас.

4.33. Ты в известном смысле отрицаешь наличие этого мира. Ты объясняешь его наличное бытие отдыхом, — отдыхом в движении.

4.34. И февраля. Мир в России.

4.35. Не потому, что он свят, его дом остался нетронутым в охватившем все пожаре, а потому, что он постарался, чтобы его дом остался нетронутым.

4.36. Наблюдатель — это в известном смысле сожитель, он привязан к живущему, он старается не отстать от ветра. Таким быть я не хочу.

4.37. Жить означает: быть в гуще жизни, смотреть на жизнь тем взглядом, каким я творю ее.

4.38. Увидеть мир хорошим можно только с того места, с которого он сотворен, ибо только там было сказано: «И увидел Он, что это хорошо» — и только с этого места он может быть приговорен к разрушению.

4.39. Он всегда готов, его дом переносится, он всегда живет на родине.

4.40. Решающая характеристическая особенность этого мира — его бренность. В этом смысле века ничем не превосходят мгновенного мгновения. Так что непрерывность этой бренности не приносит ни малейшего утешения; то, что на руинах расцветает новая жизнь, доказывает упорство не столько жизни, сколько смерти. И если я теперь хочу побороться с этим миром, я должен бороться с его решающей характеристической особенностью, то есть с его бренностью. Способен ли я так бороться в этой жизни, причем реально, а не только надеждой и верой?

Итак, ты хочешь бороться с этим миром, причем бороться более реальным оружием, чем надежда и вера. Такое оружие, по всей видимости, существует, но узнать и использовать его можно лишь при наличии определенных предпосылок; я хочу вначале посмотреть, имеются ли у тебя эти предпосылки.

Смотри; но если даже их и нет, я, возможно, могу их создать.

Конечно, но в этом я не смогу тебе помочь.

Значит, ты можешь мне помочь, только если я уже создал эти предпосылки.

Да; точнее говоря, я вообще не могу тебе помочь, ибо, когда у тебя имеются эти предпосылки, тебе уже ничего больше не нужно.

Но если это так, зачем ты хотел вначале меня испытать?

Не для того, чтобы показать, чего тебе не хватает, а для того, чтобы показать, что тебе чего-то не хватает. Этим я, пожалуй, мог бы принести тебе определенную пользу, ибо хоть ты и знаешь, что тебе чего-то не хватает, но ты в это не веришь.

То есть в ответ на мой первоначальный вопрос ты лишь представляешь мне доказательство того, что я должен задавать вопросы.

Я представляю все же нечто большее — нечто такое, что ты, в силу своего положения, вообще не способен сейчас уточнить. Я представляю доказательство того, что свой первоначальный вопрос ты, собственно, должен был поставить иначе.

Другими словами, это значит: ты не хочешь или не можешь мне отвечать.

«Тебе не отвечать» — так оно и есть.

Но эту веру — ее ты можешь дать.

4.41. 19 февраля. Возвращение из Праги. Оттла в Цархе.

4.42. Лунная ночь ослепляла нас. Крики птиц перелетали с дерева на дерево. В полях слышалось пересвистывание.

Мы ползли в пыли, — мы, пара змей.

4.43.[94] Интуиция и опыт.

Если «опыт» — это покой в абсолютном, то «интуиция» может быть лишь путем к абсолютному в обход мира. Ведь все стремится к цели, а цель только одна. Правда, это можно уравновесить тем, что разложение есть таковое только во времени, то есть только такое разложение, которое хоть и происходит в каждое мгновение, но фактически вообще не происходит.

4.44.[95] Может быть знание дьявольского, но не вера в него, так как большей дьявольщины, чем здесь, нет нигде.

Грех всегда приходит в открытую и может быть сразу же понят рассудком. Он уходит на своих плодоножках, и его не следует вырывать.

4.45. Тот, кто заботится только о будущем, менее предусмотрителен, чем тот, кто заботится об этом мгновении, ибо последний заботится даже не об этом мгновении, а только о его длительности.

4.46.[96] Все страдания, окружающие нас, должны выстрадать и мы. Христос пострадал за человечество, и человечество должно страдать за Христа. Тела у нас разные, но развиваемся мы одинаково и поэтому в той или иной форме проходим сквозь все боли. Как ребенок развивается, проходя все жизненные стадии вплоть до старости и смерти (причем каждая стадия, независимо от того, манит ли она или страшит, представляется в принципе недостижимой для предыдущей), точно так же развиваемся и мы (связанные с человечеством не менее глубоко, чем с самими собой), проходя сквозь все страдания этого мира. В этом смысле для справедливости здесь места нет — но также и для страха перед страданием или для представления страдания в качестве какой-то заслуги.

4.47. 22 февраля.

И в созерцании, и в деятельности есть отблеск истины, но только из созерцания исходящая или, скорее даже, к нему возвращающаяся деятельность истинна.

4.48.[97] Ты можешь держаться в стороне от страданий этого мира, это тебе позволено и этот выбор соответствует твоей натуре, но, быть может, именно такая отстраненность — это единственное страдание, которого ты мог бы избежать.

4.49. Твоя воля свободна, это значит: она свободна, когда она хочет в пустыню, она свободна, поскольку может выбирать, по какому пути пересекать ее, она свободна, поскольку может выбирать стиль ходьбы, — но она и несвободна, поскольку идти через пустыню ты должен, и она несвободна, поскольку всякий путь ведет лабиринтом, проходящим через каждую пядь этой пустыни.

4.50.[98] Человек обладает свободной волей, причем трояко: во-первых, он был свободен, когда захотел этой жизни; теперь, правда, вернуть ее назад он уже не может, ведь он уже не тот, кто тогда ее хотел, потому что иначе получилось бы, что, живя, он выполняет свою тогдашнюю волю.

Во-вторых, он свободен, потому что может выбирать путь этой жизни и свой стиль ходьбы.

В-третьих, он свободен, потому что хочет — как тот, кто когда-нибудь появится снова, — при любых условиях пройти сквозь эту жизнь и таким образом прийти к себе, причем по пути, который хоть и можно выбирать, но который образует такой лабиринт, что не остается незатронутым ни одно пятнышко этой жизни.

Такова троячность свободной воли, однако, поскольку она синхронистична, она в то же время и однозначна, и эта однозначность, в сущности, так велика, что уже не оставляет места для какой-то воли — ни для свободной, ни для несвободной.

4.51. 23 февраля. Ненаписанное письмо.

4.52. Женщина — а в еще более резком выражении, брак — представляет ту жизнь, с которой тебе следует разобраться.

4.53.[99] Средство искушения этого мира, а также знак гарантии того, что этот мир — лишь некий переход, совпадают. Что оправданно, ибо лишь так может этот мир нас соблазнить, к тому же это соответствует истине. Самое худшее, однако, то, что после удавшегося искушения мы забываем о гарантии и, вообще говоря, таким образом добро увлекает нас во зло, как взгляд женщины — в ее постель.

4.54.[100] 24 февраля. Смирение дает каждому, в том числе и погруженному в одинокое отчаяние, прочнейшие отношения с ближним, причем сразу, — разумеется, только при полном и постоянном смирении. Смирение может дать их потому, что оно — истинный язык молитвы, в нем одновременно и поклонение, и крепчайшая связь. Отношение к ближнему — это отношение молитвы, отношение к себе — отношение поиска; в молитве черпается сила для поиска.

4.55.[101] Разве ты можешь знать что-либо, кроме обмана? Если когда-нибудь обман будут уничтожать, тебе на это просто нельзя будет смотреть, чтобы не превратиться в соляной столб.

4.56. Изобретения опережают нас так же, как побережье постоянно опережает непрестанно сотрясаемый своей машиной пароход. Изобретения осуществляют все, что можно осуществить. И если, допустим, сказать: «Самолет летает не так, как птица», или: «Никогда нам не сотворить живую птицу» — это будет неверно. Конечно, не сотворить, но в таком упреке заключена ошибка — как если бы от парохода потребовали, чтобы он, двигаясь прямым курсом, вновь и вновь подходил к первой пристани.

Птицу нельзя сотворить каким-то первоначальным актом, потому что она уже сотворена; она возникает вновь и вновь на основе первого акта творения, и вклиниться в этот ряд, сотворенный, живущий и прирастающий силой первоначальной непрекращающейся воли, невозможно; так, в одном сказании говорится, что хотя первая женщина была сотворена из ребра мужчины, но больше это никогда не повторится и что с тех пор мужчины всегда выбирают себе женщин среди родившихся от других.

Однако дело-то в том, что методы и устремления при сотворении птицы и самолета не должны различаться, справедливость же

интерпретации дикарей, принимающих винтовочный выстрел за удар грома, может оказаться ограниченной.

4.57. Доказательства действительной прежней жизни: я тебя уже видел раньше; чудеса прежнего времени и — под конец дня.

4.58. 25 февраля. Утренняя ясность.

4.59. Это не из-за лени, или злой воли, или неловкости — хотя все это в той или иной мере присутствует, ибо «Ничто — вредителей родитель» — мне ничего не удалось (или даже не удалось довести до неудачи): ни жизнь в семье, ни дружба, ни брак, ни профессия, ни литература, а из-за отсутствия основы, воздуха, заповеди. Создать их — моя задача, и не для того, чтобы как-то наверстать упущенное, но для того, чтобы ничто не оказалось упущенным, ибо эта задача не хуже любой другой. И это даже самая первейшая задача или, по крайней мере, ее отражение, — так при восхождении на высоту, где воздух разрежен, можно вдруг вступить в сияние далекого солнца. К тому же это совсем не исключительная задача, она наверняка уже не раз ставилась. Правда, не знаю, в таком ли масштабе. Из того, что необходимо для жизни, у меня, насколько я понимаю, нет ничего, а есть одна только общая для всех человеческая слабость. Благодаря ей — а она в этом отношении является гигантской силой — я глубоко впитал из своего времени все негативное, которое мне ведь очень близко, с которым я не только никогда не боролся, но которое в какой-то мере имею право представлять. Из немного позитивного, равно как и из предельно негативного, опрокидывающегося в позитивное, я никакой части не унаследовал. Я не был введен в жизнь — уже, правда, устало опустившейся — рукой христианства, как Кьеркегор, и не успел ухватиться за последний краешек отлетающего отсюда еврейского молитвенного покрова, как сионисты. Я — это конец или начало.

4.60. Он чувствовал это у виска, как стена чувствует острие иглы, которая должна в нее вонзиться. Другими словами, он этого не чувствовал.

4.61. Никто не создает здесь ничего большего, чем возможность для своей духовной жизни; то, что это выглядит как работа ради пропитания, одежды и так далее, не существенно, но именно с каждым видимым куском он получает и невидимый, с каждым видимым предметом одежды — невидимый предмет одежды и так далее. В этом оправдание всякого человека. Это выглядит так, словно он подводит под свое существование фундамент последующих оправданий, но это лишь психологический зеркально отраженный текст, а фактически он строит жизнь на своих оправданиях. Разумеется, каждый человек должен быть в состоянии оправдать свою жизнь (или свою смерть, что одно и то же), от этой задачи он уклониться не может.

4.62. Мы видим, что каждый человек живет своей жизнью (или умирает своей смертью). Без внутреннего оправдания подобное достижение было бы невозможно: ни один человек не может жить неоправданной жизнью. Отсюда можно было бы, недооценив человека, заключить, что каждый подводит фундамент оправдания под свою жизнь.

4.63. Психология — это чтение некоего зеркально отраженного текста, то есть занятие хлопотливое, но в плане получения всегда соответствующего результата — эффективное, однако в действительности не происходит ничего.

4.64. После смерти человека даже на земле на некоторое время наступает по отношению к умершему какая-то особенная благодатная тишина, прекращается земная суета, уже не заметно продолжающегося умирания, кажется, что устранена какая-то ошибка, и даже у живущих появляется возможность сотворения дыхания — для чего в комнате умершего и открываются окна, — но лишь до тех пор, пока не обнаружится, что все-таки это только видимость, и не начнутся боль и сетования.

4.65. Смерть жестока не тем, что это уход, а тем, что она вызывает действительную боль ухода.

4.66. Самое жестокое в смерти: мнимый уход причиняет действительную боль.

4.67. Сетование у постели умирающего — это, собственно, сетование на то, что в истинном смысле здесь не умирают. Мы все еще вынуждены довольствоваться этой смертью, мы все еще играем в игрушки.

4.68. 26 февраля. Солнечное утро.

4.69. Развитие человечества — увеличение силы смерти.

4.70. Наше спасение — в смерти, но не в этой.

4.71.[102] Все очень хорошо относятся к А., — примерно так же стараются тщательно оберегать какой-нибудь отменный миллиард даже от хороших игроков — до тех пор, пока не приходит великий игрок; он внимательно осматривает стол, он нетерпим к недостаткам прежних времен, но затем, когда начинает играть сам, бесцеремоннейшим образом дает выход своей ярости.

«Но затем он вернулся к своей работе так, словно ничего не произошло». Эта ремарка знакома нам по трудноопределимому множеству старых рассказов, хотя, может быть, не встречается ни в одном из них.

4.72. Перед каждым человеком здесь ставятся два вопроса веры: во-первых, заслуживает ли доверия эта жизнь и, во-вторых, заслуживает ли доверия его цель. На оба вопроса каждый фактом своей жизни так твердо и непосредственно отвечает «да», что можно усомниться, правильно ли понимаются эти вопросы. Во всяком случае, тут нужно сперва пробиться к своему собственному основополагающему «да», ибо глубже, под его поверхностью, ответы под натиском вопросов становятся путаными и уклончивыми.

4.73.[103] Нельзя сказать, что нам недостает веры. Уже в самом факте нашей жизни — просто неисчерпаемые глубины веры.

Это здесь-то глубины веры? Да ведь нельзя же не жить.

Именно в этом «нельзя же» и скрывается безумная сила веры, в этом отрицании она обретает форму.

4.74.[104] Тебе нет нужды выходить из дому. Оставайся у своего стола и слушай. И даже не слушай — просто жди. И даже не жди — будь совершенно спокоен и одинок. И мир предложит тебе себя, чтобы быть разоблаченным, он не может удержаться и будет в экстазе извиваться перед тобой.

4.75.[105] Непередаваемость парадокса, возможно, существует, но как таковая не выражается, ибо сам Авраам не понял его. Аврааму не нужно — или не следует — его понимать и, следовательно, как-то истолковывать для себя, но он, очевидно, вправе попытаться истолковать его для других. В этом смысле и вообще не однозначно; в случае Ифигении это выражается в том, что оракул никогда не дает однозначных предсказаний.

4.76. Покой во всем? Двусмысленность всеобщего. В одном случае всеобщее толкуется как покой, но в иных — как «всеобщие» споры между единичным и всеобщим. Только покой есть истинно всеобщее, но и конечная цель — тоже.

4.77. Все выглядит так, словно спор между всеобщим и единичным происходит на настоящей сцене, в то время как жизнь во всем — лишь нарисована на заднике.

4.78. Не существует такой эволюции, которая своей бессмысленностью (а я в ней лишь очень косвенно виноват) утомила бы меня. Этого брэнного мира Аврааму при его заботливости недостаточно, поэтому он решает отъехать вместе с ним в вечность. Однако то ли выездные, то ли въездные ворота слишком узки, и его телега с мебелью не проходит. Вину за это он приписывает слабости того голоса, который им командует. В этом мука его жизни.

4.79.[106] Духовная нищета Авраама — и малая подвижность этой нищеты — это преимущество, она обеспечивает ему концентрацию, или, скорее, она сама уже есть концентрация, из-за чего, правда, он теряет то преимущество, которое состоит в использовании силы этой концентрации.

4.80. Вот заблуждение, в котором пребывает Авраам: он не может вынести однообразия этого мира. Известно, однако, что мир необычайно разнообразен, в чем можно убедиться, зачерпнув пригоршню этого мира и присмотревшись к нему поближе. Это, естественно, знает и Авраам. Таким образом, жалоба на однообразие мира есть, собственно, жалоба на то, что недостаточно полно смешался с многообразием этого мира. Она, таким образом, — трамплин в мир.

4.81. Рядом с его доказательством идет некое волшебство. Что-то от доказательства можно, расширив, ввести в волшебный мир, что-то от волшебства — в логику, но и то и другое в то же время подавить, так как они представляют собой нечто третье — живое волшебство, или не разрушающее, а созидющее разрушение мира.

4.82. В нем слишком много духовности, с этой своей духовностью он проезжает по земле, как в волшебной карете, даже там, где нет пути. И узнать, что там нет пути, от себя самого он не может. Из-за этого его униженные мольбы о преемственности становятся тиранией, а его искренняя вера в то, что он «на пути», — заносчивостью.

4.83. Неимущие рабочие

ОБЯЗАННОСТИ:

Не иметь и не принимать никаких денег или ценностей. Разрешено лишь следующее имущество: самая простая одежда (устанавливается отдельно в каждом случае), то, что необходимо для работы, книги, продукты для собственного потребления. Все прочее принадлежит бедным.

Средства к существованию добываются только работой. Не бояться никакой не наносящей ущерба здоровью работы, для которой достаточно сил. Работу выбирать либо самому, либо, когда это невозможно, подчиняясь распоряжениям рабочего совета, подотчетного правительству.

Работать только за вознаграждение в размере двухдневного прожиточного минимума (устанавливается отдельно для каждой местности).

Самая умеренная жизнь. Есть только то, что безусловно необходимо, например в качестве минимального вознаграждения, которое, в известном смысле, является также и максимальным, — хлеб, вода, финики. Еда — беднейших, ночлег — беднейших.

Отношения к работодателю трактовать как доверительные, никогда не требовать вмешательства суда. Любую взятую на себя работу при всех обстоятельствах доводить до конца, исключение может быть связано только с тяжелыми последствиями для здоровья.

ПРАВА:

Максимальный рабочий день — шесть часов; на физической работе — от четырех до пяти.

В случае болезни и в недееспособном возрасте — помещение в дома престарелых и больницы.

Трудовая жизнь как дело совести и веры в людей.

Принесенное имущество дарить государству для учреждения больниц и приютов.

По крайней мере на первое время исключаются независимые, женатые и женщины.

Совет (тяжелая обязанность) поддерживает связь с правительством.

То же и на капиталистических производствах [два слова не прочитываются].

Там, где можно помочь, — в отдаленных местностях, в приютах для бедных, — учителями.

Верхний предел — пятьсот человек.

Испытательный срок — один год.

4.84. Во имя этой стройки ему подчинились все. Чужие рабочие приносили мраморные плиты, уже подогнанные и притертые одна к другой. Следуя размеренным движениям его пальцев, эти плиты поднимались и переносились с места на место. Еще никогда ни одна постройка не возникала так быстро, как этот храм, или, скорее, этот храм возникал поистине так, как возникают храмы. Вот только на всех плитах — из какой каменоломни они происходили? — бессмысленной детской рукой или, скорее, живущим в горах варваром, вооруженным каким-то, видимо, потрясающе острым инструментом, врезаны на века — назло, чтобы осквернить или даже совсем разрушить, — корявые каракули, которые переживут храм.

4.85. Вверх по ручью навстречу бегущей воде. Заросли кустарника. Гневный голос учителя, бормотание детей, багрово заходящее, убегающее от себя, содрогающееся солнце. Захлопывается печная дверца. Варится кофе. Мы сидим, облокотившись на стол, и ждем. Тонкие деревца выстроились по одну сторону дороги. Март. Что тебе еще нужно? Мы поднимаемся из могил с желанием еще пройтись по этому миру, никакого определенного плана у нас нет.

4.86. Ты хочешь уйти подальше от меня? Что ж, это решение не хуже любого другого. Но куда ты отправишься? Где будет «подальше от меня»? На Луне? Даже там — недостаточно далеко, да и ты в такую даль не доберешься. Так к чему все это? Может, лучше сядешь в уголке и помолчишь? Разве так не будет лучше? Там, в углу, темно и тепло, разве нет? Ты не слушаешь? Ищешь дверь. Да, но где же тут дверь? Насколько я помню, в этой комнате ее нет. Когда здесь все это строилось, — кто тогда думал о таких потрясающих планах, как у тебя? Но ничто не потеряно, подобная мысль не может затеряться, мы обсудим ее за круглым столом, и смех будет тебе наградой.

4.87. Поднималась бледная луна, мы скакали через лес.

4.88.[107] Посейдону надоели его моря. Трезубец он где-то обронил. Он тихо сидел на скалистом берегу, и какая-то ошалевшая от его присутствия чайка описывала неровные круги над его головой.

4.89. Бешено катящаяся повозка.

4.90.

Боже, что нам здесь готовят!

Из травы сухой постели

под шатром листвы зеленой;

мало солнца, влажный дух.

Боже, что нам здесь готовят!

Что хотим! о чем мечтаем?

Это взять, а то утратить?

Слепо пьем мы, задыхаясь,

пепел из отцовской урны.

Что хотим? о чем мечтаем?

Что хотим? о чем мечтаем?

Что-то гонит нас из дома.

Манят звуки Флейты,

манит свежесть ручья.

Так, казалось, терпеливо

шорохом вершин деревьев

боги сада говорили.

Если б я хотел в их рунах

перемен игру слышать

или слова нагноенье...

4.91. Был тихий летний полдень; граф обедал. Дверь открылась, но на сей раз вошел не слуга, а брат Филотас.

— Брат, — сказал граф и встал, — я уже так давно не видел тебя во сне, и вот я снова вижу тебя.

В застекленной двери, ведущей на террасу, одно стекло разлетелось вдребезги, и красно-коричневая птица, похожая на куропатку, но крупнее и с более длинным клювом, влетела в комнату.

— Погоди, сейчас я ее... — сказал монах, подобрал одной рукой рясу и попытался другой поймать птицу.

Как раз в этот момент вошел слуга с блюдом прекрасных фруктов, и птица, сделав над ними несколько кругов, принялась спокойно и энергично расклевывать их.

Слуга, словно окаменев, держал блюдо и, вообще говоря, без удивления смотрел на фрукты, на птицу и на продолжавшего свою охоту монаха. Отворилась другая дверь, и вошли жители деревни с петицией: они просили открыть проезд по лесной дороге, это было им необходимо для лучшего возделывания их полей. Но они пришли в неудачное время, ибо граф был еще ребенком школьного возраста, сидел на скамеечке и что-то учил. Старый граф, разумеется, уже умер, и, следовательно, править должен был бы мальчик, но правления не было, а был перерыв в истории, и депутация уходила в пустоту. Чем они кончат? Вернутся ли они? Смогут ли они своевременно узнать обстановку? Учитель, который тоже был в составе депутации, уже вышел из ее рядов и взялся за обучение маленького графа. Какой-то палкой он сбросил со стола все, что на нем было, опрокинул его, чтобы столешница стала вертикально, как школьная доска, и написал на ней мелом цифру «1».

4.92. Мы пили, диван был для нас слишком узок, стрелки стенных часов безостановочно бежали по кругу. В комнату заглянул слуга, мы, вытянув руки, замахали ему. Но он замер при виде того, что происходило на софе у окна. Там медленно поднялся какой-то старик в тонкой черной шелковисто-блестящей одежде, его пальцы все еще барабанили по боковой спинке.

— Отец, — воскликнул сын.

— Эмиль, — сказал старик.

4.93. Путь к ближнему для меня слишком дальний.

4.94. Прага. Религии забываются, как люди.

4.95.[108]

Что, душонка,

ты танцуешь,

в теплом воздухе головой качая

и скидывая ноги из блестящей травы

так, что поднимается легкий ветерок.

Пятая тетрадь

5.1. Я мог бы быть очень доволен. Я — чиновник магистрата. Как это прекрасно — быть чиновником магистрата! Работы мало, жалованье достаточное, свободного времени много, и повсюду в городе — безмерное уважение. Стоит мне только ясно представить себе положение чиновника магистрата, и я не могу ему не завидовать. И вот теперь это я, я — чиновник магистрата, и, если бы мог, я хотел бы отдать всю эту честь на съедение бюрократам, снующим каждое утро из кабинета в кабинет, чтобы подбирать остатки их завтраков.

5.2. Если я в ближайшее время умру или стану совершенно нежизнеспособен — а вероятность этого велика, так как две последние ночи у меня было сильное кровохарканье, — то могу сказать, что растерзал себя сам. В свое время отец, осыпая меня яростными, но пустыми угрозами, часто говорил: я разделаю тебя, как рыбу, — на деле он меня и пальцем не тронул, но вот теперь, независимо от него, эта угроза осуществляется. Мир (Ф. — его доверенное лицо) и мое «я», войдя в неразрешимое противоречие, разрывают мое тело.

5.3. Я должен был учиться в большом городе. Тетя встречала меня на вокзале. Однажды, когда я с отцом приезжал в город, я ее видел. Я с трудом узнал ее.

5.4. Ворон, сказал я, несчастный старый ворон, что ты все время путаешься у меня под ногами? Куда бы я ни пошел, ты сидишь на дороге и топоришь свои перья. Надоело!

Да, сказал он и, склонив голову, принялся ходить передо мной туда-сюда, как учитель, излагающий материал, это правда, мне самому это уже почти что неудобно.

5.5. Наконец он добрался до города, в котором должен был учиться. Комната была найдена, чемодан распакован, земляк, уже долгое время здесь живший, провел его по городу. Совершенно случайно где-то в конце уходящей вбок улицы возникла знаменитая, изображенная во всех учебниках достопримечательность. От этого зрелища у него перехватило дыхание; земляк только махнул в том направлении рукой.

5.6. Ты старый негодяй, но что бы с тобой было, если бы мы когда-нибудь навели здесь порядок?

Нет-нет, этому я бы очень воспротивился.

Не сомневаюсь. Тем не менее тебя придется убрать.

Я позову моих сородичей.

И этого я ожидал. Их тоже надо будет размазать по стенке.

5.7. Что бы ни затягивало меня в те жернова, которые меня обычно перемалывают, я воспринимаю это как благодеяние — при условии, что это не вызывает слишком уж сильной физической боли.

5.8. Маленькая веранда, вся залитая солнцем; мирно и неумолчно журчит на плотине вода.

5.9.

Ничто не держит меня.

Двери и окна раскрыты.

Террасы пусты и просторны.

5.10. К. был великим фокусником. Программа его была немного однообразна, но, ввиду несомненности достижений, всегда привлекала. То представление, на котором я его впервые увидел, я, естественно, все еще помню во всех подробностях, хотя с тех пор минуло уже двадцать лет, а я был тогда совсем маленьким мальчиком. О его прибытии наш маленький городок не был заранее оповещен, но он назначил выступление прямо на вечер дня своего приезда. В большом банкетном зале нашей гостиницы, вокруг одного стола в центре было освобождено немного места — и этим исчерпывались все театральные приготовления. Насколько я помню, зал был переполнен — впрочем, ребенку кажется переполненным всякий зал, где горят огни, слышится гомон голосов взрослых, бегают взад и вперед официант и тому подобное; к тому же я не знал, почему на это явно преждевременно устроенное представление пришло так много народу, — во всяком случае, в моих воспоминаниях эта мнимая переполненность зала, естественно, сыграла, вне всяких сомнений, решающую роль в том впечатлении, которое на меня произвело это представление.

5.11. То, к чему я прикасаюсь, распадается.

5.12.

Минул печальный год,

птичьи крылья обвисли.

Луна в холодные ночи бледнеет,

миндадь и маслины давно созрели.

5.13. Благодеяние лет.

5.14. Он сидел над своими подсчетами. Длинные столбцы. Временами он отворачивался от них и подпирал лицо рукой. Что выходило из этих подсчетов? Печальный, печальный счет.

5.15.[109] Вчера я впервые был в секретариате... [см. прим.].

5.16.

Беги, моя лошадка,

вези меня в пустыню,

все города исчезли, деревни

и милые речки,

достопочтенные школы

и бесшабашные бары,

исчезли девичьи лица,

унесенные бурей с востока.

5.17. Собралось очень большое общество, где я никого не знал. Поэтому я решил вначале вести себя совсем тихо, постепенно отыскать тех, с кем мне легче всего будет сойтись, и затем с их помощью влиться в остальное общество. Комната с одним окном была довольно маленькой, но в ней было около двадцати человек. Я встал у раскрытого окна, последовав примеру тех, которые брали со стоящего сбоку столика сигареты и спокойно курили. К сожалению, как я ни прислушивался, я не мог понять, о чем шел разговор. То мне казалось, что говорят об одном мужчине и одной женщине, то об одной женщине и двух мужчинах, но говорили все время об одних и тех же троих

лицах, так что только из-за моей несообразительности я все еще не разобрался, о каких лицах шла речь, не говоря уже, естественно, об истории этих лиц. Мне казалось совершенно несомненным, что поднят вопрос о том, заслуживает или не заслуживает одобрения с точки зрения морали поведение этих троих — или по крайней мере одного из этих троих. О самой истории, которая всем была известна, в связи с этим вопросом уже не говорили.

5.18. Вечер у реки. Баржа на воде. Садящееся в облаках солнце.

5.19. Он упал прямо передо мной. Говорю вам, он упал передо мной на таком расстоянии, на каком от меня вот этот стол, на который я опираюсь. «Ты с ума сошел?!» — закричал я. А было уже далеко за полночь, я возвращался из гостей, мне хотелось еще немного пройтись в одиночестве, и тут передо мной расплывается этот человек. Поднять такого гиганта я не мог, но оставлять его лежать в таком месте, где вокруг не видно ни души, мне тоже не хотелось.

5.20. Грезы проплывают надо мной; усталый и утративший надежды, я лежу в моей постели.

5.21. Я лежал больной. Поскольку болезнь была тяжелой, тюфяки моих сотоварищей вынесли из комнаты, и я дни и ночи лежал один.

5.22. Пока я был здоров, никто обо мне не беспокоился. Нет, в общем-то, я считал это совершенно правильным, я не хочу начинать теперь задним числом на это жаловаться, я хочу только подчеркнуть разницу: стоило мне заболеть, как начались эти посещения больного, они продолжают почти непрерывно и не прекратились до сего дня.

5.23. Он безнадежно плыл в маленькой лодке вокруг мыса Доброй Надежды. Было раннее утро, дул крепкий ветер. Безнадежно поставил маленький парус и спокойно откинулся назад. Чего ему было бояться в маленькой лодке, скользкой благодаря своей ничтожной осадке поверх всех рифов этих опасных вод с проворством живого существа?

5.24. У меня три собаки: Держи, Хватай и Больше-никогда. Держи и Хватай — обычные маленькие крысоловы, и, будь их только две, никто бы не обращал на них внимания. Но с ними еще Больше-никогда. Больше-никогда — это какая-то помесь дога, и у него такой экстерьер, какого, наверное, не получить и при самом тщательном многовековом выведении. Больше-никогда — это какой-то цыган.

5.25. Все мое свободное время — его, вообще говоря, много, но я поневоле вынужден слишком много спать, чтобы прогнать голод, — я провожу с Больше-никогда. Лежа на кушетке в стиле мадам Рекамье. — Как эта мебель попала на мою мансарду, я не знаю; может быть, она направлялась в какой-нибудь чулан для старого хлама, но ввиду чрезмерного утомления осталась в моей комнате.

5.26. Больше-никогда придерживался того мнения, что дальше так продолжаться не может и что надо найти какой-то выход. В принципе, и я того же мнения, но веду себя иначе, чем он. Он бегаёт по комнате взад и вперед, временами вспрыгивает на кресло, терзает зубами кусочек колбасы, который я ему подложил, наконец лапой отбрасывает его ко мне и снова принимается бегать кругами.

5.27. А. С какой стороны ни взглянуть, вы затеяли очень трудное и опасное предприятие. Правда, его не следует переоценивать, так как встречаются еще более трудные и опасные. И может быть, как раз там, где этого не ожидают и потому вступают в дело совершенно наивными и неоснащенными. Я в самом деле так считаю, но, разумеется, не намерен ни отговаривать вас от осуществления ваших планов, ни принижать их. Никоим образом. Ваше дело, несомненно, потребует много сил — и оно стоит того, чтобы их затратить. Но вы, вообще-то, чувствуете в себе эти силы?

Б. Нет. Этого я не могу сказать. Я не чувствую в себе никаких сил — только пустоту.

5.28. Я въехал верхом через южные ворота. Прямо у ворот был выстроен большой постоянный двор, там я и собирался переночевать. Я отвел моего лошака на конюшню, она была уже почти переполнена ездовыми животными, но я все же нашел одно надежное местечко. Затем я поднялся на галерею, расстелил мое одеяло и лег спать.

5.29. Милая змея, почему ты так далеко от меня, подползай ближе, еще ближе — хватит, дальше не надо, оставайся там. Ах, для тебя не существует никаких границ. Как прикажешь добиться власти над тобой, когда ты не признаешь никаких границ? Это будет нелегкой работой. Я начну с того, что попрошу тебя свернуться в клубок. Я сказал, свернуться клубком, а ты стоишь торчком. Ты что, не понимаешь меня? Ты не понимаешь меня. Но я ведь очень понятно говорю: свернуться в клубок! Нет, ты не улавливаешь. Ну, тогда я покажу тебе вот здесь палкой. Сначала ты должна описать большой круг, затем, внутри, вплотную к нему, — второй и так далее. Если в конце у тебя еще останется сверху головка, то она медленно опустится под мелодию флейты, на которой я позднее заиграю, а когда я закончу, ты тоже должна затихнуть, уложив голову в самый внутренний круг.

5.30.[110] Меня подвели к моей лошади, но я был еще очень слаб. Я взглянул на это стройное, подрагивавшее в лихорадке жизни животное.

— Это не моя лошадь, — сказал я, когда слуга на постоялом дворе подвел мне утром лошадь.

— Ваша лошадь была сегодня ночью единственной в нашей конюшне, — сказал слуга и, усмехаясь — или, если угодно, упрямо усмехаясь, — посмотрел на меня.

— Нет, — сказал я, — это не моя лошадь.

Дорожный мешок выскользнул у меня из рук, я повернулся и пошел вверх в комнату, которую только что покинул.

Шестая тетрадь

6.1. Наверное, я все-таки должен был раньше поинтересоваться, как обстоит с этой лестницей, какие тут имеются закономерности, чего здесь следует ожидать и как к этому относиться. Но ты же никогда об этой лестнице не слышал, сказал я себе в оправдание, а ведь в

газетах и книгах разбирают по косточкам все, что хотим-то образом существует. Но об этой лестнице ничего не было. Могло быть, ответил я сам себе, ведь ты же невнимательно читал. Ты часто бывал рассеян, пропускал целые абзацы или даже ограничивался заголовками; возможно, там упоминалась и эта лестница, но ты это пропустил. А теперь тебе понадобилось именно то, что ты пропустил. На мгновение я остановился, обдумывая это возражение. И тут я, как мне показалось, смог вспомнить, что однажды в одной детской книжке я вроде бы что-то прочел о какой-то похожей лестнице. Там было не много, скорее всего, — только упоминание о ее существовании, это никак не могло мне помочь.

6.2. Когда одна маленькая мышь, которую в мышином мире любили, как никакую другую, однажды ночью попала в мышеловку и с воплем отдала жизнь за то, чтобы взглянуть на сало, все мыши округи содрогнулись в своих норах, их прошиб озноб, произвольно моргая, они переглядывались друг с другом по цепочке, в то время как их хвосты с бессмысленным усердием мели по полу. Затем нерешительно, подталкивая одна другую, они выбрались из нор; все потянулись к месту гибели. Там она лежала, маленькая милая мышь, с железом в затылке, с вдавленными розовыми лапками и окоченевшим слабым тельцем, которому так бы надо было позволить немножко сала. Рядом стояли родители, перед их глазами были останки их ребенка.

6.3. Однажды зимним вечером после разных деловых неприятностей мое дело показалось мне — у каждого торговца бывают подобные моменты — таким отвратительным, что я решил тут же закрыться на этот день, несмотря на то что было еще рано и по-зимнему светло. Такие добровольные решения всегда приводят к хорошим последствиям...

6.4. Вскоре после начала своего правления, еще до объявления обычной в таких случаях амнистии, юный князь посетил тюрьму. Между прочим он, как и ожидали, поинтересовался узником, содержащимся в этой тюрьме дольше всех. Это был человек, приговоренный к пожизненному заключению за убийство своей жены и проведенный в тюрьме уже двадцать три года. Князя, пожелавшего его увидеть, провели в камеру; заключенного на этот день из предосторожности заковали в цепи.

6.5. Вечером, вернувшись домой, я обнаружил посреди комнаты какое-то большое, какое-то громадное яйцо. Оно было высотой почти со стол и соответственного поперечника. Яйцо слегка покачивалось из стороны в сторону. Мне стало страшно любопытно, я обхватил это яйцо ногами и осторожно разрезал его перочинным ножом надвое. Скорлупа, комкаясь, распалась, и из нее, хлопая по воздуху слишком короткими, еще не оперившимися крыльями, выскочила какая-то похожая на аиста птица. «Что тебе в нашем мире?» — захотелось мне спросить; я присел перед птицей на корточки и заглянул в ее испуганно мигавшие глаза. Но она, оставив меня, запрыгала, словно на больных ногах, вдоль стены, пытаясь вспорхнуть. «Один помогает другому», — подумал я, развернул на столе принесенную к ужину еду и кивнул птице, которая уже успела запустить клюв в мои книги и что-то там долбила. Она тут же подошла ко мне, уселась — явно уже имея какой-то навык — на стул и начала, со свистом втягивая воздух, обнюхивать кусочек колбасы, который я положил перед ней, но затем, едва лишь наколов его, тут же и сбросила. «Ошибка, — подумал я, — Естественно, только что вылупившись из яйца, не начинают сразу с колбасы. Тут бы нужен был женский опыт». И я пристально всмотрелся в нее, пытаясь внешним осмотром определить, может быть, какие-то пищевые запросы. Потом меня осенило: «Если она из семейства аистов, то ей наверняка должна нравиться рыба. Ну что ж, я готов обеспечить ее даже рыбой. Разумеется, не даром. Мои средства не позволяют мне держать домашнюю птицу. Так что если я пойду на такие жертвы, то я хочу получить и какую-то равноценную в смысле жизнеобеспечения, какую-то жизненно важную услугу. Раз она аист, так пусть тогда она, когда вырастет и откормится на моей рыбе, возьмет меня с собой в теплые края. Меня давно уже туда тянет, и только из-за отсутствия крыльев аиста я это до сих пор откладывал». Тут же взяв бумагу и чернила, я обмакнул в чернила клюв птицы и написал, не встречая при этом никакого сопротивления с ее стороны, следующее: «Я, аистоподобная птица, в случае, если ты выкормишь меня рыбой, лягушками и червяками (эти два последние продукта питания я добавил ради удешевления) до состояния оперенности, обязуюсь отнести тебя на своей спине в теплые края». Затем я вытер ей клюв и еще раз поднес птице бумагу к глазам, прежде чем сложить лист и спрятать в бумажник. А затем сразу же побежал за рыбой; в этот раз мне пришлось дорого за нее заплатить, однако на будущее торговец обещал постоянно и в изобилии снабжать меня испорченной рыбой и червяками по дешевой цене. Может быть, это путешествие на юг обойдется мне совсем не так уж дорого. И мне было приятно видеть, как нравится птице то, что я принес. Рыба заглатывалась с бульканьем и заполняла розоватый животик. Развитие птицы прогрессировало день ото дня — несравнимо с человеческими детенышами. И хотя невыносимая вонь тухлой рыбы уже не уходила из моей комнаты и нелегко было повсюду находить и постоянно убирать птичий помет, — к тому же зимний холод и дороговизна угля не позволяли осуществлять крайне необходимое проветривание, — какое все это имело значение: настанет весна, и по свежему воздуху я поплыву к сияющему югу. Крылья росли и покрывались перьями, мускулы крепились, пора было начинать летную подготовку. К сожалению, не было аистихи-матери, и, не будь птенец таким послушным, моих уроков могло бы, пожалуй, оказаться недостаточно. Но птица явно понимала, что должна предельной внимательностью и крайним напряжением компенсировать отсутствие у меня педагогических способностей. Мы начали с планирования. Я тянулся вверх, она повторяла за мной; я прыгал, раскинув руки, вперед-вниз, она порхала следом. Позднее мы перешли на стол и, наконец, на шкаф, причем всякий раз все полеты систематически и многократно повторялись.

6.6. Мучитель

Мучитель живет в лесу. В одной давно заброшенной хижине, оставшейся с давних угольных времен. Когда в нееходишь, ощущаешь только неистребимый затхлый дух, больше ничего. Меньше самой маленькой мыши, невидимый, даже если приблизить к нему глаз, мучитель сидит, сжавшись в углу. Ничего, совершенно ничего нельзя заметить, в пустом оконном проеме спокойно шумит лес. Как здесь пусто и как это кстати для тебя. Вот здесь, в этом углу ты будешь спать. Почему не в лесу, не на свежем воздухе? Потому что ты теперь уже здесь, под защитой этой хижины, хотя ее дверь давно уже сорвали с петель и унесли. Но ты все-таки еще шаришь рукой в воздухе, словно желая закрыть эту дверь, и затем ложишься.

6.7.[111] В конце концов я вскочил из-за стола и ударом кулака разбил лампу. Тут же вошел слуга с фонарем, поклонился и придержал передо мной дверь. Я торопливо спустился из моей комнаты вниз, слуга шел следом. Внизу другой слуга укутал меня в шубу; поскольку я, словно бы обессилев, не возражал, он сделал уже больше, чем должен был: поднял меховой воротник шубы и застегнул ее у меня под подбородком. Это нужно было сделать: мороз был убийственный. Я влез в ожидавшие просторные сани, был тепло укрыт множеством одеял, и под веселый перезвон поезда началась.

— Фридрих, — услышал я шепот из угла.

— Ты здесь, Альма? — сказала я и протянул ей правую руку в толстой рукавице.

Было произнесено еще несколько слов удовлетворения по поводу встречи, и затем мы замолчали, так как из-за бешеной скачки перехватывало дыхание. Я уже задремал, позабыв о своей соседке, когда мы остановились перед трактиром. У дверцы саней стоял хозяин, рядом с ним — мои слуги; все вытянули шеи, готовые исполнить любое мое приказание. Но я только наклонился из саней и крикнул:

— Что вы тут стоите, вперед, вперед, никаких остановок! — и какой-то палкой, оказавшейся под рукой, ткнул кучера.

Когда строилась Китайская стена

Китайская стена в своей самой северной точке была закончена. Строители продвигались с юго-востока и юго-запада и здесь соединились. Такую систему строительства по частям применяли и в малых масштабах внутри двух больших рабочих армий, восточной и западной. Осуществлялось это следующим образом: образовывались отряды примерно по двадцать рабочих, каждый из которых должен был возвести часть стены длиной около пятисот метров, в то время как соседний отряд строил стену той же длины навстречу первому. Но затем, после того как происходила стыковка, строительство не продолжалось на каком-то из концов этой тысячеметровой стены, а рабочие отряды пересылались для возобновления работ в совершенно иные места. Естественно, что при таком методе возникали многочисленные большие бреши, которые лишь постепенно, медленно заполнялись (некоторые — даже после того, как уже было объявлено о завершении строительства стены). Более того, должны были остаться совершенно не застроенные бреши; впрочем, не исключено, что это утверждение — одна из тех многочисленных легенд, которые возникли вокруг строительства, и проверить это отдельному человеку с его человеческими глазами и масштабами невозможно ввиду протяженности строительства.

Ну, изначально предполагалось, что было бы во всех отношениях предпочтительнее возводить сплошную стену — по крайней мере, в пределах каждой из двух главных частей. Ведь стена, как об этом везде сообщается и как известно, предназначалась для защиты от северных народов. Но как же может защитить стена, которую выстроили не сплошной? Да такая стена не только не может защитить, но само ее строительство может навлекать постоянную опасность. Эти части стены, оставленные стоять в пустынных местностях, могут с легкостью снова и снова разрушаться кочевниками, тем более что тогда, напуганные строительством, они с непостижимой скоростью, как саранча, меняли места своего обитания и благодаря этому, возможно, имели лучшее представление о продвижении строительства, чем даже мы, ее создатели. Тем не менее строительство, очевидно, не могло вестись иначе, чем происходило. Чтобы это понять, нужно принять во внимание следующее: стена должна была стать защитой на века, поэтому необходимыми предпосылками выполнения работы были предельная тщательность возведения, использование достижений строительства всех известных времен и народов и непреходящее чувство личной ответственности строителей. И хотя на вспомогательных работах могли использоваться невежественные поденщики из народа: мужчины, женщины, дети — все, кто готов был наняться за хорошую оплату, — но уже для руководства четырьмя поденщиками требовался знающий человек, разбирающийся в строительном деле, — человек, способный до глубины души прочувствовать, что здесь совершается. А чем значительнее участок работы, тем выше требования. И соответствующие люди действительно имелись — если и не в такой массе, какая могла быть брошена на подобную стройку, то все же — в значительном количестве.

Ведь к этой работе подошли отнюдь не легкомысленно. За пятьдесят лет до начала строительства по всему Китаю, который должен был быть охвачен стеной, строительное искусство, и в особенности ремесло каменщика, было объявлено высшей областью знания, и все прочее признавалось лишь постольку, поскольку имело какое-то отношение к строительству. Я еще очень хорошо помню, как мы, маленькие дети, едва научившиеся ходить, стояли в садике нашего учителя и должны были из маленьких камешков складывать некое подобие стены, как учитель, подхватив подол, налетал на эту стену, всю ее, естественно, опрокидывал и так упрекал нас за слабость нашей постройки, что мы с воем разбегались во все стороны и бежали к родителям. Крохотный эпизод, но показательный для духа времени.

Мне повезло: когда в двадцать лет я сдал высший экзамен в низшей школе, как раз началось строительство стены. Я говорю «повезло», потому что многие из тех, кто достиг высшей доступной им ступени образования раньше, годами не могли найти применения своим знаниям, без толку слонялись, вынашивая в головах планы великолепных построек, и в массовом порядке опускались. Однако те, которые в конце концов приходили на стройку начальниками строительных участков — пусть даже самого низшего ранга, — были действительно этого достойны. Встречались и такие каменщики, которые много размышляли об этом строительстве, которые не переставали о нем размышлять и с первого камня, опущенного ими в землю, уже нутром чувствовали искривление стены. Но такими каменщиками — естественно, помимо стремления произвести основательнейшую работу — двигало и нетерпеливое желание увидеть, как эта постройка возникнет наконец во всем своем совершенстве (поденщик такого нетерпения не испытывает, им движет только заработок). Высшие — и даже средние — руководители в достаточной мере видят многосторонний рост стены и благодаря этому тоже сохраняют твердость духа. Но о низших, стоящих в духовном плане намного выше их внешне незначительных задач, нужно было как-то иначе позаботиться. Их, к примеру, нельзя было заставлять в какой-нибудь необитаемой горной местности, за сотни миль от родины, месяцами, а тем более — годами водружать камень на камень; безысходность такой прилежной, но даже за долгую человеческую жизнь не достигающей никакой цели работы приводила их в отчаяние и, главное, увеличивала их бесполезность. Поэтому была выбрана система строительства по частям. Пятьсот метров могли быть выложены примерно за пять лет, после чего, правда, руководители, как правило, оказывались совершенно без сил и теряли всякую веру в себя, в строительство и в этот мир. И вот когда они еще испытывали подъем после праздника стыковки тысячи метров стены, их посылали в дальние дали, и по дороге они видели, что здесь и там высются готовые части стены, проезжали через ставки высших начальников, которые одаривали их знаками отличия, слышали, как ликуют новые армии рабочих, стекавшихся из глубин страны, видели вырубленные леса, предназначенные для возведения лесов строительных, видели горы, разбитые на камни для стены, слышали в святых местах песнопения благочестивых, молившихся о завершении строительства. Все это умеряло их нетерпение. Спокойная жизнь родины, в объятиях которой они проводили некоторое время, укрепляла их, уважение, которым были окружены все строители, смиренное доверие, с которым выслушивались их рассказы, то, как простые мирные жители верили в будущее построение стены, — все это подтягивало их душевные струны. И тогда, как вечно надеющиеся дети, они прощались с родиной, потому что желание вновь участвовать в деле народа становилось непреодолимым. И они покидали свои дома раньше, чем требовалось, и половина деревни далеко уходила с ними, провожая их. А на всех дорогах — отряды, вымпелы, знамена; никогда раньше

они не видели, как велика, богата, прекрасна и достойна любви их страна. Каждый крестьянин был братом, для которого строилась защитная стена и который всем, что он имел и чем он был, готов был благодарить за это всю свою жизнь. Единство! Единство! Грудь к груди, весь народ — в одной шеренге, кровь, уже не запертая в жалком круговороте тела, а сладостно струящаяся — и все-таки возвращающаяся через весь бесконечный Китай!

Таким образом, выбор системы строительства по частям становится понятен, но, по-видимому, для него все-таки были и иные причины. Нет, кстати, ничего удивительного в том, что я так долго задерживаюсь на этом вопросе, ведь это центральный вопрос всего строительства стены, каким бы малозначительным он ни казался на первый взгляд. И если я хочу передать и сделать понятными мысли и переживания этого времени, то сколько бы я ни углублялся в рассмотрение как раз данного вопроса, оно все еще не будет достаточно глубоким.

По-видимому, прежде всего следует все-таки отдать себе отчет в том, что осуществлявшиеся тогда работы мало в чем уступали строительству Вавилонской башни, в то время как в смысле богоугодности — во всяком случае, согласно человеческому расчету — представляли собой нечто прямо противоположное тому строительству. Я упоминаю об этом, поскольку во времена начала строительства один ученый написал книгу, в которой очень строго проводил это сопоставление. Он пытался в ней доказать, что строительство Вавилонской башни не достигло своей цели отнюдь не по тем причинам, которые всеми признаются, или что, по крайней мере, эти известные причины вовсе не из самых главных. Его доказательства состояли не только из сказаний и свидетельств, но он утверждал также, что самолично провел исследования на месте и обнаружил, что постройка рухнула — и должна была рухнуть — из-за слабости основания. Ну, в этом отношении наше время намного превосходит те, давно минувшие. У нас почти каждый образованный современник — профессиональный каменщик и в вопросах подведения оснований безупречен. Но ученый метил совсем не сюда; он утверждал, что только такая великая стена впервые за все время существования человечества создаст надежный фундамент для возведения новой вавилонской башни. То есть сначала — стена, а затем — башня. Эта книга ходила тогда по рукам, но признаюсь, что я и сегодня еще не вполне понимаю, как он представлял себе эту постройку башни. Чтобы стена, которая даже не замкнута в круг, а образует что-то вроде четверти или половины круга, послужила фундаментом для башни? Нет. Тут все-таки имелся в виду какой-то духовный смысл. Но тогда при чем тут стена, ведь она-то представляла собой что-то реальное, результат труда и жизни сотен тысяч людей? И для чего тогда в этой работе изображались планы башни (правда, туманные) и давались предложения (и даже детально разработанные меры) по объединению усилий народа для новой объемной работы?

Тогда вообще было много путаницы в головах (эта книга — только один пример), и, может быть, именно потому, что пытались собрать как можно больше людей для достижения одной цели. Ведь человеческая натура в основе своей легкомысленна и, имея природу взлетающей пыли, не выносит никаких оков; если же люди заковывают себя в цепи сами, то вскоре начинают с безумной силой эти оковы трясти и разбрасывают на все стороны света и стены, и цепи, и самих себя.

Возможно, что даже и такие — направленные против строительства стены — соображения не остались неучтенными руководством при выборе схемы строительства по частям. Мы — я говорю здесь, очевидно, от имени многих — нашли себя, собственно, только в переосмысливании распоряжений высшего руководства и поняли, что без этого руководства ни нашей школьной учености, ни нашего человеческого рассудка не хватило бы для выполнения того маленького дела, которое составляло нашу часть внутри этого большого целого. В руководящем штабе — где он был к кому там сидел, этого не знал и не знает никто из тех, кого я спрашивал, — в этом штабе прокручивались, наверное, все человеческие мысли и желания, а по встречному кругу — все человеческие цели и средства. А сквозь окно на руки, чертвишие планы руководства, падал отсвет божественных миров.

И потому неподкупному свидетелю даже в голову прийти не может, что это руководство, если бы оно всерьез захотело, не смогло бы преодолеть и те затруднения, которые возникают при возведении сплошной стены. Следовательно, остается единственный вывод: руководство заранее планировало строительство по частям. Но строительство по частям являлось лишь временной мерой и было нецелесообразно. Остается сделать вывод, что руководство хотело чего-то нецелесообразного... Странный вывод!.. Разумеется, странный, и тем не менее для него имеется немало и других оснований. Сегодня об этом, наверное, уже можно говорить без опаски, а тогда тайным принципом многих — и даже лучших — было: всеми силами старайся понять распоряжения руководства, но — до некоторого известного предела; дошел — прекращай размышления. Очень разумный принцип, который, кстати, позднее часто повторяли в другой формулировке, в форме сравнения. «Прекращай размышления» не потому, что они могут тебе повредить, — это даже совсем не обязательно, что они тебе повредят, здесь вообще нельзя говорить о причинении или не причинении вреда. Но с тобой будет то же, что бывает с рекой по весне. Она вздувается, становится мощнее, обильнее питает земли вдоль своих длинных берегов, сохраняет свой собственный характер и дальше, впадая в море, и становится равноправнее с морем и приятнее ему... Вот настолько и задумывайся о распоряжениях руководства... А дальше река выходит из берегов, теряет контуры и форму, замедляет течение, пытается вопреки своему предназначению образовать в далеких от моря местностях новые маленькие моря и портит угожья, но долго удерживаться в этом разливе все равно не может, и стекает снова в свои берега, и даже плачевно пересыхает в последующее жаркое время года. Вот настолько о распоряжениях руководства не задумывайся.

Да, возможно, во время строительства стены это сравнение было исключительно точным, но его применимость к моему теперешнему отчету по меньшей мере ограничена. Ведь мое исследование лишь историческое; из давно пролетевших грозных туч уже не сверкнет молния, и поэтому я могу искать строительству по частям объяснения, выходящие за пределы, которыми ограничивались в то время. Впрочем, ограничения, которые ставит мне моя способность к размышлению, сами по себе достаточно узки, тогда как область, которую здесь надо охватить, бесконечна.

От кого должна была защитить эта великая стена? От северных народов. Я родом из Юго-Восточного Китая. Там никакой северный народ угрожать нам не может. Мы читаем о северянах в древних книгах, и жестокости, которые они творили, следуя своей натуре, заставляют нас вздохнуть в наших мирных беседах. На правдивых картинах художников мы видим их проклятые лица, их разверстые пасти, их усеянные остро торчащими зубами челюсти, их суженные глаза грабителей, кажется уже искоса поглядывающие на то, что будет перемолото и растерзано жадной пастью. Когда наши дети плохо себя ведут, нам стоит только показать им эти картины — и они уже бросаются, плача, нам на шею. Но больше мы об этих северных народах ничего не знаем. Мы их не видели, и если останемся в нашей деревне, то никогда и не увидим, даже если они на своих диких конях поскачут прямо на нас, как на псовой охоте, — страна слишком

велика и не допустит их до нас, они пролетят в пустоту.

Но если это так, то для чего же тогда мы оставляем родину, речку и мостик, мать и отца, плачущую жену и невыученных детей и уезжаем в школу в далекий город, а наши мысли летят еще дальше — к стене, на север? Для чего? Спрашивай у руководства. Оно знает нас. Оно, обремененное чудовищными заботами, помнит о нас, оно знает наши маленькие занятия, оно видит, как мы сидим все вместе в низких хижинах, и молитву, которую отец семейства произносит вечером в кругу своих домочадцев, оно может одобрить и может не одобрить. И если я вообще могу позволить себе такую мысль о руководстве, то я должен сказать, что, по моему мнению, это руководство существовало и раньше. Ну не может же оно, как, допустим, великий мандарин, разом прийти в возбуждение после какого-нибудь прекрасного утреннего сна, тут же созвать заседание и тут же принять постановление, чтобы уже к вечеру население было поднято из кроватей барабанами для выполнения этого постановления, пусть даже речь идет всего лишь об устройстве какой-нибудь иллюминации в честь какого-нибудь божества, которое вчера явило свою благосклонность к этим господам, чтобы завтра, едва только будут погашены огни, настичь их в каком-нибудь темном углу и отлупить. Нет, руководство существовало уже давно, и постановление о строительстве стены — тоже. Невинные северные народы думали, что это они дали толчок к строительству, досточтимый невинный император думал, что это он отдал приказ строить, но мы, имеющие отношение к стройке, видим это иначе — и молчим.

Уже тогда, во времена строительства стены, и позднее, вплоть до сегодняшнего дня, я занимался почти исключительно сравнительной историей народов (есть определенные вопросы, при рассмотрении которых только таким путем можно в каком-то смысле добраться до нерва) и в ходе этих занятий обнаружил, что мы, китайцы, имеем известные народные и государственные установления, отличающиеся уникальной ясностью, и в то же время другие — отличающиеся уникальной неясностью. Мне всегда хотелось — хочется и сейчас — прочувствовать причины подобных явлений — в особенности последнего, — к тому же эти вопросы имеют существенное отношение и к строительству стены.

Ну, к наиболее неопределенным нашим установлениям, во всяком случае, относится империя. Естественно, в Пекине, особенно при дворе, в этом отношении имеется некоторая ясность, хотя и она — скорее кажущаяся, чем действительная. И учителя государственного права и истории в высших школах только делают вид, что им все известно об этих вещах и что они могут передать эти знания дальше, студентам. А чем глубже спускаешься к низшим школам, тем, понятное дело, быстрее убывает сомнение в собственных знаниях, и полубразованность бушует, вздымаясь валами, вокруг немногих века назад незыблемо установленных научных положений, которые, правда, ничего не теряют в своем качестве вечных истин, однако в этой мгле и в этом тумане остаются вечно непонятыми.

Но как раз об отношении к империи следовало бы, по моему мнению, опросить народ, поскольку именно в нем — последняя опора империи. Впрочем, здесь я опять-таки могу говорить только о моей родине. Помимо богов полей и столь богатого разнообразием — и красивого в исполнении — служения им на протяжении всего года, наши мысли заняты только императором. Но не теперешним, или, точнее, они были бы заняты теперешним, если бы мы его знали или знали о нем что-либо определенное. Мы, правда, всегда стремились что-нибудь такое узнать (это был единственный предмет нашего любопытства), но, как ни удивительно это прозвучит, узнать что-либо было почти невозможно — ни от пилигримов, при том что они все-таки много походили по стране, ни в ближних, ни в дальних деревнях, ни на кораблях, которые ведь плавали не только по нашей речушке, но и по святым рекам. Рассказывали-то многое, но из этого многого ничего нельзя было извлечь.

Наша страна так велика, что никакой сказке не охватить ее пределов, неба едва хватает, чтобы накрыть ее, и Пекин — это лишь маленькая точка, а императорский дворец — всего лишь точка. С другой стороны, император как таковой, разумеется, велик настолько, что пронизывает все этажи мира. Однако живущий император — такой же человек, как мы, и примерно так же, как мы, лежит на какой-нибудь лежанке, которая ему хоть и богато отмерена, но при этом может быть даже узкой и короткой. Он, как и мы, иногда распрямляет члены, а если очень устает, то зевает своим нежно очерченным ртом. Но как мы можем об этом узнать, находясь за тысячи миль к югу, мы ведь там уже почти среди Тибетских гор. Кроме того, любая новость, если бы даже она до нас и дошла, пришла бы слишком поздно и была бы давно устаревшей. А вокруг императора ведь еще теснится хоть и блестящая, но темная толпа придворных — злоба и вражда в одеяниях слуг и друзей, противовес императору, постоянно стремящийся поразить его отравленными стрелами со своей чаши весов. Империя бессмертна, но отдельные императоры уходят и свергаются, и даже целые династии в конце концов приходят в упадок и с одним-единственным последним хрипом испускают дух. Об этих битвах и страданиях народ никогда не узнаёт; как опоздавшие, как иногородние, стоят народные массы в конце переполненных боковых улочек, спокойно поедая захваченные с собой припасы, в то время как далеко впереди, в центре, на рыночной площади, совершается казнь их господина.

Есть одна легенда, которая хорошо выражает такое положение вещей. Император, говорится в ней, направил тебе, отдельному, ничтожному подданному, крохотной тени, отброшенной в отдаленнейшую даль его августейшим солнцем, — именно тебе направил император послание со своего смертного ложа. Он приказал посыльному встать возле кровати на колени и прошептал это послание ему на ухо; и это было так для него важно, что он даже приказал повторить послание ему на ухо. И кивал головой, подтверждая правильность сказанного. И на глазах у всех зрителей его смерти — а все мешающие стены были снесены, и на всех вширь и ввысь разбегающихся лестницах выстроились вокруг великие люди империи, — на глазах у них всех он отправил посыльного.

Посыльный тут же трогается в путь; это сильный, неутомимый человек; выставив вперед то одну, то другую руку, он прокладывает себе путь через толпу; встречая сопротивление, он указывает на свою грудь, где у него знак солнца, и продвижение вперед ему дается, как никому, легко. Однако толпа слишком велика, и местам ее обитания нет конца. Если бы открылось свободное пространство, о, как бы он полетел! — он бы так полетел, что вскоре ты, наверное, услышал бы великолепные удары его кулака в твою дверь. Но вместо этого, погруженный в неустанные — и такие напрасные! — труды, он все еще протискивается сквозь парадные залы самого внутреннего из дворцов, — и никогда ему их не преодолеть, а если бы ему это и удалось, то ничего еще не было бы достигнуто, потому что пришлось бы еще пробиваться вниз по лестницам, а если бы ему и это удалось, то и тогда ничего еще не было бы достигнуто, потому что пришлось бы еще пересекать дворы, а после дворов — второй, внешний дворец, и снова — лестницы и дворы, и снова — еще один — дворец, и так далее в течение тысячелетий; а если бы он выбрался наконец за самые последние врага — но никогда, никогда не может это произойти! — перед ним еще лежала бы вся столица — центр земли, до отказа заполненный стекающими туда со всех сторон осадками. Сквозь это уже никто не пробьется, тем более с каким-то посмертным посланием... А ты сидишь у твоего окна и, когда спускается вечер, мечтаешь о том, что в нем сказано.

Именно так — так безнадежно и с такой надеждой смотрит наш народ на императора. Народ не знает, какой император правит, и даже в отношении династии имеются сомнения. В школе изучают много похожего подряд, но общая неопределенность в этом отношении так велика, что даже лучшие ученики в ней тонут. Давно умершие императоры возводятся в наших деревнях на трон, а тот, который живет еще только в песне, недавно издал какой-то указ, который священник оглашал перед алтарем. Битвы нашей древнейшей истории разыгрываются только теперь, и сосед, сияя лицом, врывается в твой дом с известием об этом. Жены императора, раскормленные, возлежащие на шелковых подушках, отвращенные лукавыми придворными от благородных обычаев, распираемые жадной власти, обуреваемые алчностью, распластавшиеся в похоти, снова и снова повторяют свои преступления. И чем больше времени уже минуло с тех пор, тем ужаснее горят все краски, и с громким воплем скорби деревня однажды узнаёт, как какая-то императрица, жившая тысячи лет тому назад, длинными глотками пила кровь своего мужа.

Вот в таких отношениях находится народ с прошлым, но нынешнего властителя он смешивает с мертвыми. И если когда-то, один раз за время человеческой жизни, какой-нибудь императорский чиновник, объезжая провинцию, случайно попадает в нашу деревню, предъявляет именем властвующего какие-то требования, проверяет списки податей, присутствует на занятиях в школе, расспрашивает священника о нашем поведении и потом, перед тем как сесть в свои носилки, объявляет свои выводы согнанной для этого общине, то по всем лицам пробегает улыбка, каждый украдкой смотрит на другого и наклоняется к детям, чтобы скрыть свое лицо от чиновника. Как, думают все, он говорит об умершем как о живущем, ведь этот император уже давно умер и династия его утасла, господин чиновник смеется над нами; однако, чтобы его не обидеть, мы делаем вид, что не замечаем этого. Но всерьез подчиняемся только нашему нынешнему господину, потому что поступать как-либо иначе было бы грешно. И за торопливо удаляющимися от нас носилками чиновника восстает и идет тяжелой поступью какой-нибудь произвольно поднятый из уже рассыпавшейся урны повелитель деревни.

Аналогичным образом и государственные перевороты, и современные войны, как правило, наших людей затрагивают мало. Мне вспоминается в связи с этим один эпизод из моей юности. Как-то в одной соседней, но тем не менее очень далекой провинции вспыхнуло восстание. Причин я уже не помню, но они здесь и не важны; причины для восстаний возникают там каждый день, там очень беспокойный народ. И вот однажды какой-то попрошайка, пришедший из той провинции, принес листовку повстанцев в дом моего отца. А как раз был какой-то праздник. Наши комнаты были полны гостей, и в центре сидел священник и изучал этот листок. Вдруг все начали смеяться, листок этот в толкотне разорвали, а попрошайку, который, впрочем, уже получил богатое подаяние, выгнали из комнаты в толчки; все развеселились и выбежали на воздух. Почему? Диалект соседней провинции существенно отличается от нашего, и это находит свое выражение также и в определенных формах письменной речи, которая для нас звучит несколько архаично. И как только священник прочел две такие страницы, все уже было решено: старые дела, давно было, давно отошло. И хотя — так мне это представляется в воспоминаниях — все в этом попрошайке неопровержимо говорило о самой ужасной жизни, люди смеялись, качали головами и не хотели больше ничего слушать. Вот так у нас готовы перечеркивать современность.

Если из таких явлений кто-то пожелает сделать вывод, что, в сущности, у нас вообще не было императора, он будет недалек от истины. Я должен вновь повторить: быть может, нет более верного императору народа на юге, чем наш, но эта верность для императора бесполезна. И хотя на маленькой колонне при выходе из деревни стоит священный дракон, с незапамятных времен почтительно направляя свое огненное дыхание в сторону Пекина, но сам Пекин людям в деревне намного более чужд, чем потусторонний мир. Да и есть ли в самом деле такая деревня, где бы дома, стоя вплотную друг к другу, тянулись, покрывая поля, дальше, чем хватает взгляда с нашего холма, а между этими домами днем и ночью стояли бы люди, голова к голове? Чем представить себе такой город, нам легче поверить в то, что Пекин и его император — это что-то единое, что-то вроде облака, медленно плывущего под солнцем в хороводе времени.

Ну а следствием таких воззрений является в какой-то мере свободная, никакой властью не обузданная жизнь, — нет, никоим образом не безнравственная, такой чистоты нравов, как на моей родине, я, пожалуй, нигде и не встречал в своих путешествиях, но все же — такая, которая не подчиняется никаким ныне существующим законам и следует лишь предначертаниям и предостережениям, перешедшим к нам от прежних времен.

Я остерегаюсь обобщений и не утверждаю, что так обстоят дела во всех десяти тысячах деревень — или даже во всех пятистах провинциях Китая. Тем не менее на основании многих трудов на эту тему, которые я прочел, а также на основании моих собственных наблюдений — в особенности при строительстве стены обилие человеческого материала давало способному чувствовать возможность путешествий в душах почти по всем провинциям, — на основании всего этого я могу по-видимому, сказать, что в господствующем отношении к императору везде вновь и вновь проявляется некая определенная основная черта — та же, что присутствует и в отношении к нему на моей родине. Это отношение, кстати, я вовсе не хочу представить в качестве какой-то добродетели, наоборот. Хотя в основном виновато в нем правительство, которое в старейшей империи земли до сего дня не в состоянии было — или не удосужилось, занимаясь другими делами, — довести имперские институты до такой ясности, чтобы они непосредственно и непрерывно действовали вплоть до самых дальних границ государства. Но, с другой стороны, в нем проявляется все-таки и некоторая слабость воображения или веры народа, который не созрел для того, чтобы извлечь императора из пекинского небытия и как нечто совершенно живое и насущное прижать его к своей верноподданнической груди, которая ведь ничего лучшего и не желает, как только почувствовать когда-нибудь это прикосновение и замереть в нем навеки.

Так что добродетелью такое отношение, очевидно, не является. Тем удивительнее, что именно эта слабость, похоже, является одной из важнейших основ объединения нашего народа, более того — если позволительно так далеко заходить в выражениях, — буквально почвой, на которой мы живем. Однако здесь исчерпывающе обосновать какой-то упрек — значит лишиться покоя не нашу совесть, а наши ноги, что значительно хуже. И потому я пока не хочу слишком углубляться в исследование этого вопроса.

Когда строилась Китайская стена

(Фрагменты)

И вот в этот мир ворвалось известие о строительстве стены. Оно тоже запоздало, придя лет через тридцать после объявления о начале строительства. Был летний вечер. Мы с моим отцом — мне было тогда десять лет — стояли на берегу реки. Соответственно значительности этого часто обсуждавшегося момента, я запомнил мельчайшие обстоятельства. Отец держал меня за руку — он до глубокой старости любил держать меня за руку, — а другая его рука скользила по длинной, чрезвычайно тонкой трубке, словно это была какая-то флейта. Его длинная жидкая жесткая борода торчала вперед; наслаждаясь трубкой, он смотрел вверх реки в высоту. От этого его коса — предмет восхищения детей — спускалась еще ниже, слегка шурша по расшитому золотом шелку праздничной одежды. И тут перед нами остановилась баржа; шкипер кивнул моему отцу, чтобы он спустился к воде, и сам начал подниматься по склону ему навстречу. На полпути они встретились, и шкипер прошептал что-то отцу на ухо; он даже обнял отца, чтобы совсем близко к нему подойти. Я не знал, о чем идет речь, видел только, что отец, кажется, известию не поверил; шкипер старался убедить отца в его истинности, отец все еще не мог поверить; шкипер, с матросской страстностью доказывая истинность своих слов, почти разорвал у себя на груди одежду; отец приумолк, и шкипер, ругаясь, вскочил в баржу и уплыл. Отец в задумчивости повернулся ко мне, выбил трубку, засунул ее за пояс, потрепал меня по щеке и прижал мою голову к себе. Я любил это больше всего, это переполняло меня радостью, — и так мы и пришли домой. А там на столе уже дымилась рисовая каша, и собрались гости, и как раз наливали в чашки вино. Но, не обращая на это внимания, отец прямо с порога начал пересказывать то, что он услышал. Слов его я, естественно, точно не помню, но смысл их, в силу исключительности обстоятельств, воздействовавших даже на ребенка, настолько врезался мне в память, что я все же беру на себя смелость воспроизвести его, так сказать, дословно. Я делаю это потому, что сказанное тогда было очень характерно для народного восприятия. Так вот, отец говорил примерно следующее. Один чужой шкипер — я знаю всех, которые обычно у нас проплывают, но этот был чужой — только что рассказал мне, что собираются строить какую-то великую стену, чтобы защитить императора. Потому что перед императорским дворцом часто собираются толпы неверующих (а среди них есть и демоны) и пускают в императора свои черные стрелы.

II

Стыдно сказать, на чем держится власть императорского наместника в нашем горном селении. Если бы мы захотели, его немногочисленные солдаты были бы тут же разоружены, а подкрепления, даже если бы он смог его вызвать — а как бы он это смог? — ему пришлось бы ждать днями и даже неделями. Так что он целиком зависит от нашего повиновения, но не старается добиться его ни жестокой тиранией, ни подкупающей душевностью. Почему же мы терпим его ненавистное правление? Нет никаких сомнений: только ради его взглядов. Когдаходишь в его рабочий кабинет, который столетие назад был залом совета наших старейшин, он сидит в мундире за письменным столом с пером в руке. Возвеличиваться или тем более ломать комедию он не любит, поэтому не продолжает писания, заставляя посетителя ждать, а сразу же прерывает свою работу и откидывается на спинку кресла, не выпуская, правда, пера из руки. И вот в таком положении, откинувшись назад и засунув левую руку в карман брюк, он смотрит на посетителя. Просителю кажется, что наместник видит не только его — неизвестного, на мгновение вынырнувшего из людской толпы, потому что иначе зачем наместнику так внимательно, и долго, и молча на него смотреть? К тому же это не тот острый, испытующий, сверлящий взгляд, который может быть, видимо, устремлен на отдельного человека, а небрежный, рассеянный, хотя, впрочем, и неотступный взгляд, — взгляд, которым следят, скажем, за перемещением человеческих масс где-то вдали. И этот долгий взгляд все время сопровождается какой-то неопределенной улыбкой, в которой видится то ирония, то мечтательное воспоминание.

Седьмая тетрадь

7.1.[112] Ненарушимый сон. Она бежала по дороге, я не видел ее, я только замечал, как ее на бегу шатает, как летит ее покрывало, как поднимается ее нога, я сидел на обочине дороги и смотрел в воду маленького ручейка. Она пробегала через деревни, дети стояли в дверях, смотрели ей навстречу и смотрели ей вслед.

7.2. Разорванный сон. Согласно капризу одного прежнего князя, в мавзолее непосредственно возле саркофагов должен был дежурить сторож. Разумные люди высказывались против этого, но в конце концов такую мелочь стесненному во многих других отношениях князю уступили. На это место попросился инвалид одной из войн прошлого столетия, вдовец и отец троих детей, павших в последнюю войну. Он был принят, и старый придворный чиновник повел его в мавзолей. За ними следовала прачка, нагруженная разными предназначенными для сторожа вещами. Вплоть до начала аллеи, которая вела далее прямо к мавзолею, инвалид, несмотря на свой протез, не отставал от чиновника, но тут он немного замешкался, закашлял и начал потирать левую ногу.

— Ну, Фридрих, — сказал чиновник, который вместе с прачкой ушел несколько вперед и теперь обернулся.

— Да ногу заломило, — сказал инвалид, скорчив гримасу, — секундочку терпения, это обычно сразу проходит.

7.3. Рассказ деда

Во времена покойного князя Лео V я был сторожем мавзолея во Фридрихспарке. Естественно, я не сразу стал сторожем мавзолея. Я еще очень хорошо помню, как я, рассыльный с княжеской молочной фермы, должен был в первый раз нести вечером молоко страже мавзолея. «О, — думал я, — страже мавзолея!» Разве кто-нибудь на самом деле знает, что такое мавзолей? Я был сторожем мавзолея и, значит, должен был бы это знать, но даже я, по сути дела, этого не знаю. И вы, слушающие мою историю, поймете в конце, что и вы, даже если думаете, что знаете, что такое мавзолей, должны признать, что вы — что и вы этого уже не знаете. Но тогда я об этом мало задумывался, я был просто беспредельно горд тем, что меня послали к страже мавзолея. И я сразу же помчался со своим молочным ведром сквозь туман луговых тропинок, которые вели к Фридрихспарку. Перед золотыми решетчатыми воротами я отряхнул куртку, почистил сапоги, вытер росу с ведра, потом позвонил и, прижавшись лбом к прутьям решетки, напряженно ждал, что теперь будет. Сторожка стояла среди кустов как бы на небольшом возвышении; из открывшейся дверки упал свет, и какая-то совсем старая баба, после того как я сообщил, кто я, и в доказательство истинности своих слов показал ведро, открыла ворота. Затем мне пришлось идти впереди нее, но точно так же медленно, как шла эта женщина; идти было очень неудобно, потому что она крепко держала меня сзади и на этом коротком отрезке пути два раза останавливалась перевести дух. Наверху на каменной скамейке возле двери сидел, закинув ногу на ногу, скрестив на груди руки и прислонив голову к стене, гигантского роста мужчина; взгляд его был устремлен на росший прямо перед ним куст, который заслонял ему весь обзор. Я с невольным вопросом взглянул на женщину.

— Это мамлюк, — сказала он, — ты не знал?

Я покачал головой и еще раз с удивлением посмотрел на этого человека, в особенности на его высокую баранью шапку, но тут старуха потащила меня в дом. В маленькой комнатке за столом, очень аккуратно заполненным книгами, под колоколом абажура настольной лампы сидел старый бородатый человек в халате и смотрел в мою сторону. Я, естественно, решил, что не туда попал, повернулся и хотел выйти из комнаты, но старуха загородила мне дорогу и сказала господину:

— Новый разносчик молока.

— Иди-ка сюда, карапуз, — сказал господин и засмеялся.

Потом я сидел на маленькой скамеечке у его стола, а он придвигал свое лицо совсем близко к моему. К сожалению, вследствие приветливого обращения я несколько обнаглел.

7.4. На чердаке

У детей была тайна. На чердаке, в дальнем углу, среди хлама целого столетия, куда ни один взрослый уже не мог пробраться, сын адвоката Ганс обнаружил какого-то чужого мужчину. Он сидел в шкафу, лежавшем у стены плашмя. При виде Ганса на лице мужчины не отразилось ни страха, ни удивления — только тупость; ясным взглядом он смотрел в глаза Ганса. На голове его была большая круглая низко надвинутая на лоб баранья шапка. Густая жесткая борода топорщилась. Одет он был в широкое бурое пальто, схваченное крепкими ремнями, напоминавшими лошадиную сбрую. На коленях у него лежала короткая кривая сабля в тускло поблескивавших ножнах, на ногах были высокие сапоги со шпорами; одна нога стояла на опрокинутой винной бутылке, другая, почти выпрямленная, — на полу, пяткой и шпорой врезаясь в дерево.

— Убирайся! — закричал Ганс, когда мужчина медленной рукой хотел схватить его; убежав далеко в новые части чердака, Ганс остановился только тогда, когда получил мокрый шлепок по лицу повешенным там на просушку бельем. И все-таки он тогда сразу вернулся назад. Чужой сидел с несколько презрительно выпяченной губой и не шевелился. Осторожно подкрадываясь, Ганс проверил, не является ли эта неподвижность уловкой. Но чужой, кажется, в самом деле ничего плохого не замышлял, он просто сидел там и был совсем слабый, от этой явной слабости его голова чуть заметно дрожала. Так что Ганс осмелился сдвинуть в сторону старый дырявый каминный экран, который еще отделял его от этого чужого, подойти к нему совсем близко и в конце концов даже его потрогать.

— Какой ты пыльный! — удивленно сказал он и отдернул почерневшую руку.

— Да, пыльный, — сказал чужой и больше ничего не сказал.

У него было такое необычное произношение, что Ганс понял его слова, только когда они уже отзвучали.

— Я Ганс, — сказал он, — сын адвоката, а ты кто?

— Вот как, — сказал чужой, — я тоже Ганс. Ганс Шлаг меня зовут, я баденский егерь, родом из Кастартена на Неккаре.

— Егерь? Ты ходишь на охоту? — спросил Ганс.

— Ах, ты еще маленький мальчик, — сказал чужой, — и зачем ты так раскрываешь рот, когда говоришь?

На эту ошибку Гансу часто пенял и адвокат, но егеря в таком недостатке упрекнуть было нельзя, его едва можно было понять, и ему следовало бы очень порекомендовать пошире раскрывать рот.

7.5. Разлад между Гансом и отцом, существовавший с давних пор, после смерти матери дал такую вспышку, что Ганс вышел из дела отца, уехал за границу, тут же, словно бы в какой-то рассеянности, занял случайно подвернувшуюся маленькую должность и от любых сношений с отцом — будь то посредством писем или через знакомых — уклонялся так успешно, что о смерти отца от сердечного приступа, последовавшей примерно через два года после его отъезда, узнал только из письма старого адвоката, объявлявшего его душеприказчиком. Ганс как раз стоял за витриной суконной лавки, в которой работал продавцом, и смотрел на дождь, заливавший рыночную площадь маленького провинциального городка, когда со стороны церкви подошел почтальон. Он вручил письмо неповоротливой, вечно чем-то недовольной хозяйке, сидевшей в глубине лавки на высоком мягком стуле, и ушел. Слабый звук зазвеневшего дверного колокольчика словно разбудил Ганса, он оглянулся и только тогда увидел, как хозяйка приближает свое усатое, обмотанное черным платком лицо вплотную к конверту. В таких случаях Гансу всегда казалось, что вот сейчас у нее вывалится язык и, вместо того чтобы читать письмо, она начнет по-собачьи его лизать. Колокольчик еще раз слабо звякнул вдогонку, и хозяйка сказала:

— Вам тут письмо пришло.

— Нет, — сказал Ганс и не двинулся от окна.

— Странный вы человек, Ганс, — сказала женщина, — тут же ясно написано ваше имя.

В письме говорилось, что хотя Ганс объявлялся единственным наследником, но наследство было настолько обременено долгами и завещаниями, что ему, как он понял уже по прикидочной оценке, едва ли останется что-то, кроме родительского дома. Наследство небогатое: простая одноэтажная старая постройка, но Ганс был очень привязан к дому, а кроме того, теперь, после смерти отца, его уже ничто здесь, на чужбине, не удерживало, и, напротив, ведение наследственных дел настоятельно требовало его присутствия, поэтому он сразу же освободился от своих обязательств, что не составило труда, и поехал домой.

Ганс подъехал к родительскому дому поздним декабрьским вечером; все вокруг было занесено снегом. Домоправитель, ожидавший его, вышел из ворот, опираясь на руку дочери; это был дряхлый старик, он служил еще деду Ганса. Они приветствовали друг друга, но не

слишком сердечно, так как Ганс всегда видел в домоправителе лишь ограниченного тирана своих детских лет, и униженность, с которой тот теперь к нему приближался, была ему неприятна. Тем не менее дочери, которая несла за Гансом по крутой узкой лестнице его багаж, он сказал, что содержание, назначенное ее отцу, не будет ни в малейшей мере изменено, независимо от того, что он получит по завещанию. Дочь со слезами на глазах поблагодарила его и призналась, что это устраняет главную заботу ее отца, которая с самой смерти покойного господина почти не давала отцу спать. Только теперь, после ее благодарности, до сознания Ганса дошло, какие неприятности в связи с этим наследством у него возникают и еще могут возникнуть в будущем. Тем больше радовался он приближению момента, когда останется один в своей старой комнате, и, предвкушая его, ласково гладил кота, который первым незамутненным воспоминанием прежних времен терся об него всем своим телом. Но Ганса провели не в его комнату, которую по распоряжению в его письме должны были для него приготовить, а в бывшую спальню отца. Он спросил, в чем дело. Девушка стояла перед ним, все еще тяжело дыша после переноски тяжестей; она выросла и окрепла за эти два года, и у нее были поразительно ясные глаза. Она просила прощения. Дело было в том, что в комнате Ганса расположился его дядя Теодор, и они не хотели беспокоить старого господина, тем более что эта комната ведь больше и удобнее... Известие о том, что дядя Теодор живет здесь, в доме, было для Ганса новостью.

СТОРОЖ СКЛЕПА

(пьеса)

Маленький рабочий кабинет. Высокое окно, за ним — верхушка дерева без листьев. Князь сидит за письменным столом, откинувшись на спинку кресла, и смотрит в окно. Седобородый и седоусый камергер, по-юношески затянутый в узкий камзол, стоит, прислонясь к стене, у средней двери.

Пауза.

КНЯЗЬ (отворачиваясь от окна). Ну?

КАМЕРГЕР: Я не могу этого рекомендовать, Ваше Высочество.

КНЯЗЬ: Почему?

КАМЕРГЕР: В данный момент я затрудняюсь точно сформулировать мои сомнения. И если я приведу теперь лишь вошедшее в поговорку общечеловеческое мнение: «Не надо тревожить мертвых», то этим далеко еще не будет исчерпано все то, что я хотел бы высказать.

КНЯЗЬ: Я разделяю это мнение.

КАМЕРГЕР: В таком случае я неверно понял.

КНЯЗЬ: Похоже на то.

Пауза.

Необычность того, что я не отдал распоряжение сразу, а вначале объявил о нем вам, — вот, по-видимому, единственное, что вас смущает в этом деле.

КАМЕРГЕР: Разумеется, это объявление налагает на меня повышенную ответственность, и я должен приложить соответствующие усилия.

КНЯЗЬ: Никакой ответственности!

Пауза.

Итак, еще раз. До сих пор склеп во Фридрихспарке охранялся сторожем, живущим в будке у входа в парк. В таком установлении — имелся ли какой-нибудь изъян?

КАМЕРГЕР: Определенно нет. Этому склепу более четырехсот лет, и все это время он охранялся таким образом.

КНЯЗЬ: Это могло быть установлено произвольно. Но ведь это был не произвол?

КАМЕРГЕР: Это была необходимость.

КНЯЗЬ: Итак, это необходимое установление. Но я нахожусь здесь, в этом деревенском замке, уже достаточно долго, я вошел в подробности, заниматься которыми раньше предоставлял другим, — с грехом пополам они с этим справлялись, — и я обнаружил, что сторожа в верхнем парке недостаточно и что внизу в склепе тоже должен быть сторож. Возможно, это будет не слишком приятная служба, но практика показывает, что для всякой должности находятся подходящие люди, готовые ее занять.

КАМЕРГЕР: Все распоряжения Вашего Высочества, естественно, будут выполнены, даже если не удастся понять, какова необходимость этих распоряжений.

КНЯЗЬ (повысив голос). Необходимость! А охрана у ворот парка необходима? Фридрихспарк — это внутренний парк, со всех сторон окруженный замковым парком, а сам замковый парк охраняется многочисленной — и даже вооруженной — охраной. Для чего же нужна отдельная охрана Фридрихспарка? Разве это не формальность в чистом виде? не смертный одр, любезно предоставленный жалкому старику, который несет там этот караул?

КАМЕРГЕР: Это формальность, но она необходима. Это проявление уважения к великим мертвецам.

КНЯЗЬ: А охрана в самом склепе?

КАМЕРГЕР: Она, по моему мнению, имела бы некий полицейский оттенок, она была бы реальной охраной нереальных вещей, далеких от человеческого.

КНЯЗЬ: В моей семье этот склеп — граница между человеческим и иным, и я хочу, чтобы эта граница охранялась. А выяснить полицейскую, как вы выражаетесь, необходимость такой охраны мы сможем, допросив самого сторожа. Я послал за ним. (Звонит.)

КАМЕРГЕР: Этот сторож — если позволено мне будет заметить — заговаривающийся старик, он уже не в себе.

КНЯЗЬ: Если так, то это лишь еще одно доказательство необходимости того усиления охраны, о котором я говорил.

Входит слуга.

Сторожа склепа!

Слуга вводит сторожа, крепко держа его под руку, чтобы тот не упал. Это багроволицый старик в болтающейся на нем парадной ливрее с начищенными до блеска серебряными пуговицами и разнообразными знаками отличия. В его руке шапка. Под взглядами господ он дрожит.

На софу!

Слуга укладывает старика и уходит. Пауза. Слышно лишь слабое хрипение сторожа.

Слышишь меня?

Сторож приподнимается, пытается ответить, но не может; он слишком измучен и снова падает на софу.

Постарайся взять себя в руки. Мы ждем.

КАМЕРГЕР (наклонившись к князю). Разве этот человек в состоянии что-то сообщить? В особенности что-то достоверное или важное? Его бы следовало уложить в постель, и как можно скорее.

СТОРОЖ: Не надо в постель... еще крепкий... сравнительно... еще смогу его задержать.

КНЯЗЬ: Должно быть, так. Тебе ведь всего шестьдесят. Правда, выглядишь ты очень слабым.

СТОРОЖ: Сейчас соберусь с силами... сейчас соберусь.

КНЯЗЬ: Это не в упрек тебе. Я лишь сожалею, что тебе так туго приходится. Есть какие-нибудь жалобы?

СТОРОЖ: Тяжелая служба... тяжелая служба... не жалею... но очень выматывает... схватки каждую ночь.

КНЯЗЬ: Что ты сказал?

СТОРОЖ: Тяжелая служба.

КНЯЗЬ: Ты еще что-то сказал.

СТОРОЖ: Схватки.

КНЯЗЬ: Схватки? Что за схватки?

СТОРОЖ: С благословенными предками.

КНЯЗЬ: Этого я не понимаю. У тебя тяжелые сны?

СТОРОЖ: Это не сны... ночью никогда не сплю.

КНЯЗЬ: Ну расскажи тогда об этих... об этих схватках.

Сторож молчит.

(Обращаясь к камергеру). Почему он молчит?

КАМЕРГЕР (поспешно подходит к сторожу). Он может отойти в любой момент.

Князь встает и стоит у стола.

СТОРОЖ (когда камергер дотрагивается до него). Прочь, прочь, прочь! (Борется с пальцами камергера, затем обессиливает и плачет.)

КНЯЗЬ: Мы мучаем его.

КАМЕРГЕР: Чем?

КНЯЗЬ: Не знаю.

КАМЕРГЕР: Дорога в замок, привод сюда, вид Вашего Высочества, расспросы — его рассудка уже не хватило на то, чтобы все это вынести.

КНЯЗЬ (не отрываясь смотрит на сторожа). Это не так. (Идет к софе, наклоняется к сторожу и охватывает ладонями его маленький череп.) Ты не должен плакать. Да и с чего тебе плакать? Мы расположены к тебе. И я не считаю твою службу легкой. У тебя, безусловно, есть заслуги перед моим домом. Так что перестань плакать и рассказывай.

СТОРОЖ: Если бы я не так боялся того господина... (смотрит на камергера не со страхом, а с угрозой).

КНЯЗЬ (камергеру). Вам придется выйти, чтобы он мог рассказать.

КАМЕРГЕР: Но посмотрите, Ваше Высочество, у него пена на губах, он тяжело болен.

КНЯЗЬ (рассеянно). Да, идите, это продлится недолго.

Камергер уходит. Князь садится на край софы. Пауза.

Почему ты его боишься?

СТОРОЖ (на удивление бодро). А я не боюсь. Еще бояться какого-то слуги!

КНЯЗЬ: Он не слуга. Он свободный и богатый человек, граф.

СТОРОЖ: И все равно только слуга, а господин — ты.

КНЯЗЬ: Ну, пусть так, если хочешь. Но ты сам сказал, что боишься.

СТОРОЖ: Мне пришлось бы рассказывать при нем такие вещи, которые только ты должен знать. Я и так слишком много при нем сказал, да?

КНЯЗЬ: Так у нас, значит, взаимное доверие? А я тебя только сегодня впервые увидел.

СТОРОЖ: Увидел-то впервые, а знать-то давно знаешь, что я несу при дворе (поднимает вверх указательный палец) важнейшую службу. Да ты и сам это открыто признал, пожаловав мне медаль «Пламенному». Вот! (Приподнимает медаль на груди.)

КНЯЗЬ: Нет, это медаль за двадцать пять лет службы при дворе. Тебе ее дал еще мой дед. Но и я тоже тебя награжу.

СТОРОЖ: Делай, как захочешь, но чтобы это соответствовало значению моей службы. Я служу тебе сторожем склепа уже тридцать лет.

КНЯЗЬ: Не мне, мое правление длится чуть больше года.

СТОРОЖ (в задумчивости). Тридцать лет. (Умолкает. Затем, как бы с опозданием расслышав замечание князя.) Ночи там тянутся, словно годы.

КНЯЗЬ: О твоей службе мне еще не поступало ни одного доклада. В чем она состоит?

СТОРОЖ: Каждую ночь одно и то же. Каждую ночь почти что жилы рвешь.

КНЯЗЬ: То есть именно ночная служба? Тебе, старому человеку, тяжела ночная служба?

СТОРОЖ: Конечно, Высочество, в этом все и дело. Вот, взять дневную службу. Работа для бездельника. Сиди перед воротами на солнышке да позевывай. Всех происшествий, что собака встанет, толкнет тебя лапой в колено и снова ляжет.

КНЯЗЬ: Но?

СТОРОЖ (кивает). Но зато уж ночью-то устраивают происшествия.

КНЯЗЬ: Кто же?

СТОРОЖ: Господа из склепа.

КНЯЗЬ: Ты их знаешь?

СТОРОЖ: Да.

КНЯЗЬ: Они являются тебе?

СТОРОЖ: Да.

КНЯЗЬ: Этой ночью тоже приходили?

СТОРОЖ: То же.

КНЯЗЬ: Как это было?

СТОРОЖ (садится на софе). Как всегда.

Князь поднимается.

Как всегда. До полуночи тишина. Я лежу — прости меня — в кровати и курю трубку. В другой кровати спит моя внучка. В полночь раздаётся первый стук в окно. Я смотрю на часы. Всегда ровно в полночь. Стук повторяется ещё дважды, он смешивается с ударами часов на башне и ничуть их не слабее. Это тебе не человек костяшечками постучит. Но я все это уже знаю и не шевелюсь. Тогда снаружи покашливают и удивляются, что я, несмотря на такие удары, не открываю окно. Пусть княжеское Высочество удивляется! Старый сторож все ещё здесь! (Поднимает кулак.)

КНЯЗЬ: Ты мне грозишь?

СТОРОЖ (не сразу поняв). Не тебе. Тому, за окном!

КНЯЗЬ: Кто это?

СТОРОЖ: Он сразу объявляется. Одним ударом распахиваются и ставни, и окна, я едва успеваю набросить одеяло внучке на лицо. Врывается порыв бури и вмиг гасит огонь. Герцог Фридрих! Его лицо с бородой и волосами целиком заполняет все мое несчастное окошко. Как он изменился за эти столетия! Когда он открывает рот, чтобы говорить, ветер забрасывает ему туда его древнюю бороду, и он кусает ее.

КНЯЗЬ: погоди. Ты говоришь, герцог Фридрих? Какой Фридрих?

СТОРОЖ: Герцог Фридрих, только герцог Фридрих.

КНЯЗЬ: Он называет свое имя?

СТОРОЖ (испуганно). Нет, он его не называет.

КНЯЗЬ: И тем не менее ты знаешь... (обрывает фразу). Рассказывай же дальше!

СТОРОЖ: Ты приказываешь мне рассказывать дальше?

КНЯЗЬ: Естественно. Мне это действительно очень важно; здесь допущена ошибка в распределении работы. Тебя перегружали.

СТОРОЖ (падая на колени). Не отбирай у меня этот пост, Высочество. Я столько за тебя пережил — позволь мне за тебя и умереть! Не закрывай передо мной могилу, в которую я схожу. Я готов служить, я ещё могу послужить. Одна такая аудиенция, как сегодня, одна минутка отдыха подле моего господина даст мне сил на десять лет.

КНЯЗЬ (снова садится на софу). Никто не отбирает у тебя твой пост. Как бы я смог обойтись там без твоего опыта! Но я назначу ещё одного сторожа, а ты будешь старшим сторожем.

СТОРОЖ: А меня разве не достаточно? Разве я когда-нибудь хоть одного пропустил?

КНЯЗЬ: Во Фридрихспарк?

СТОРОЖ: Нет, из парка. Туда кто же захочет? Если когда-нибудь кто-то и остановится перед решеткой, так я махну из окна рукой — и он уж бежит прочь. А вот оттуда — оттуда хотят все. Ты бы посмотрел, как после полуночи все эти могильные голоса собираются вокруг моего дома. Если бы они там не так теснились, так, я думаю, они бы все вместе, со всем, что за ними есть, ввалились в мое маленькое окошко. Правда, когда становится уж совсем невмоготу, я достаю из-под кровати фонарь, высоко поднимаю его, и эти непонятные существа со смехом и воплями разлетаются во все стороны, я потом только слышу, как они шуршат в самых дальних зарослях на краю парка. Но вскоре они собираются снова.

КНЯЗЬ: И они высказывают тебе свои просьбы?

СТОРОЖ: Вначале они приказывают. Особенно герцог Фридрих. Да ещё так уверенно, как ни кто из живущих. Вот уже тридцать лет каждую ночь он верит, что на этот раз я не устою.

КНЯЗЬ: Если он приходит уже тридцать лет, то это не может быть герцог Фридрих, он умер только пятнадцать лет назад. А с таким именем в склепе он один.

СТОРОЖ (слишком увлеченный своим рассказом). Я, Высочество, про это не знаю, я не учился. Я знаю только, как он начинает. «Старый пес, — начинает он у моего окна, — господа стучат, а ты продолжаешь валяться в своей грязной кровати». Они именно на кровать всегда гnevаются. И после этого произносим мы каждую ночь почти одни и те же слова. Он — за дверью, я — с другой стороны, прислонясь к двери спиной. Я говорю: «У меня служба только днем». Господин обертывается и кричит в парк: «У него служба только днем». На это раздаётся общий смех слетевшейся знати. Тогда герцог снова обертывается ко мне: «Сейчас и есть день». Я на это коротко: «Вы ошибаетесь». Герцог: «День или ночь — открывай ворота!» Я: «Это нарушение моей служебной инструкции», — и указываю черенком трубки на прикрепленный к стене листок. Герцог: «Но ты же наш сторож». Я: «Сторож-то ваш, но поставлен правящим князем». Он: «Ты наш сторож, это главное. Поэтому открывай, и немедленно». Я: «Нет». Он: «Дурак, ты лишишься своего места. Герцог

Лео пригласил нас на сегодня».

КНЯЗЬ (быстро). Я?

СТОРОЖ: Ты.

Пауза.

Когда я слышу твое имя, я теряю свою устойчивость. Поэтому-то из предосторожности я с самого начала прислоняюсь к двери, и теперь держусь на ногах почти только благодаря ей. А снаружи все поют твое имя. «Где приглашение?» — тихо спрашиваю я. «Тварь постельная, — кричит он, — ты сомневаешься в моем герцогском слове?» Я на это: «Я не получал никаких указаний, и поэтому я не открою, не открою, не открою». «Он не открывает, — восклицает герцог за дверью, — так вперед, все, вся династия — на ворота, мы откроем их сами». И в одно мгновение за моим окном — пустота.

Пауза.

КНЯЗЬ: Это все?

СТОРОЖ: Если бы! Только теперь и начинается моя настоящая служба. Выскакиваю за дверь — бегом вокруг дома — и вот уже я столкнулся с герцогом, и вот уж мы схлестнулись в схватке. Он так велик, а я так мал, он так широк, а я так тонок, что я борюсь только с его ногами, но иногда он поднимает меня, и тогда я борюсь и наверху. Нас кольцом окружают все его сотоварищи и потешаются надо мной. Один, к примеру, надрезает сзади мои штаны, и, пока я борюсь, все забавляются с краями моей рубашки. Непонятно только, чему они смеются, потому что я ведь до сих пор всегда побеждал.

КНЯЗЬ: Но как это возможно, чтобы ты побеждал? У тебя есть оружие?

СТОРОЖ: Это только в первые годы я брал с собой оружие. Чем оно могло мне помочь против него? — только лишняя тяжесть. Мы бьемся только кулаками — даже, вообще-то говоря, только силой дыхания. И в мыслях у меня всегда ты.

Пауза.

Но я никогда не сомневаюсь в моей победе. Только иногда я боюсь, что герцог может меня потерять между пальцами и уже не будет знать, что он борется.

КНЯЗЬ: И когда же ты побеждаешь?

СТОРОЖ: Когда наступает утро. Он тогда меня отшвыривает и плюет мне вслед, признавая этим свое поражение. Мне, правда, приходится еще целый час отлеживаться, хватая воздух, пока не отдышусь как следует.

Пауза.

КНЯЗЬ (встает). Но скажи, чего они все, собственно, хотят — ты это знаешь?

СТОРОЖ: Вырваться из парка.

КНЯЗЬ: Но зачем?

СТОРОЖ: Этого я не знаю.

КНЯЗЬ: Ты никогда их не спрашивал?

СТОРОЖ: Нет.

КНЯЗЬ: Почему?

СТОРОЖ: Не решался. Но если ты хочешь, я сегодня спрошу у них.

КНЯЗЬ (испуганно-громко). Сегодня!

СТОРОЖ (деловито). Да, сегодня.

КНЯЗЬ: И ты даже не догадываешься, чего они хотят?

СТОРОЖ (задумчиво). Нет.

Пауза.

Иногда — наверное, я должен это сказать — рано утром, когда я еще лежу совсем бездыханный и у меня нету даже сил глаза открыть, приходит ко мне одно нежное, влажное и волосистое на ощупь существо, одна запоздалая гостья, графиня Изабелла. Она трогает меня в разных местах, прикасается к бороде, проскальзывает вся целиком по шее под подбородком и обычно говорит: «Остальных не надо, но меня, меня выпусти наружу». Я мотаю головой, насколько хватает сил. «К князю Лео, чтобы я могла протянуть ему руку». Я не перестаю мотать головой. «Но меня, меня», — слышу я еще, и потом она исчезает. И появляется моя внучка с одеялом, укутывает меня и ждет подле меня, когда я уже сам смогу идти. Необыкновенно добрая девочка.

КНЯЗЬ: Изабелла. Незнакомое имя.

Пауза.

Протянуть мне руку (встает у окна, смотрит в него).

В среднюю дверь входит слуга.

СЛУГА: Ваше Высочество, государыня княгиня просит допустить ее.

КНЯЗЬ (в рассеянности смотрит на слугу, затем, обращаясь к сторожу). Подожди здесь, пока я вернусь (уходит в левую дверь).

В тот же миг из средней двери появляется камергер, затем из правой — обергофмейстер, сравнительно молодой человек в офицерском мундире. Сторож отмахивается от них, словно от призраков, и прячется за софу.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Князь ушел?

КАМЕРГЕР: По вашему совету госпожа княгиня только что вызвала его отсюда.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Хорошо. (Неожиданно поворачивается и наклоняется за софу.) Так ты, жалкий призрак, в самом деле осмелился появиться здесь, в княжеском замке? А ты не боишься того могучего пинка, которым тебя вышвырнут за ворота?

СТОРОЖ: Я... я...

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Для начала ты сейчас замолчишь — чтобы ни единого звука — и встанешь сюда, в угол! (Камергеру.) Я благодарю вас за уведомление об этом новом княжеском капризе.

КАМЕРГЕР: Вы же посылали осведомиться.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Тем не менее. А теперь немного откровенности. Да, именно в присутствии этой тени в углу. Вы, господин граф, заигрываете с партией наших врагов.

КАМЕРГЕР: Это обвинение?

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Пока лишь опасение.

КАМЕРГЕР: В этом случае я могу ответить. Я не заигрываю с партией врагов, потому что не признаю ее. Чутье указывает мне определенные течения, но я в них не вхожу. Я все еще принадлежу той открытой политике, которая практиковалась при герцоге Фридрихе. Тогда при дворе была одна-единственная политика: служить князю. То, что он был холост, облегчало ему задачу, но она и никогда не стала бы тяжелой.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Весьма разумно. Но нельзя слишком долго рассчитывать только на собственный нос — даже когда он так надежен, — верную дорогу указывает только рассудок. А рассудок должен делать выбор. Предположим, князь пошел по ложному пути; чем вы послужите ему — тем ли, что станете сопровождать его на этом пути, или тем, что со всей силой вашей преданности погоните его назад? Несомненно, тем, что погоните назад.

КАМЕРГЕР: Вы прибыли с княгиней из другого придворного мира, вы здесь всего полгода, и вы в этих сложных придворных отношениях хотите сразу провести границу между добром и злом?

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Тот, кто жмурится, видит лишь сложности. Но тот, кто смотрит открытыми глазами, в первый же час видит тот же вечный свет, что и через сто лет. Здесь, правда, этот свет печален, но уже на днях мы, я надеюсь, приблизимся к благоприятному исходу.

КАМЕРГЕР: У меня нет уверенности, что тот исход, к которому вы стремитесь и о котором я знаю лишь то, что он возвещен, будет благоприятным. Я боюсь, вы не вполне понимаете нашего князя, двор и все здешнее.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Вполне или не вполне, но нынешнее положение нетерпимо.

КАМЕРГЕР: Может быть, оно и нетерпимо, но оно — следствие здешней природы вещей, и, я полагаю, мы будем терпеть его до конца.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Но княгиня — не будет, я — не буду и те, кто с нами, — не будут.

КАМЕРГЕР: Чем же оно для вас так нетерпимо?

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Поскольку мы уже накануне исхода, я буду говорить прямо. Наш князь некоторым образом соединяет в себе два существа. Одно занимается управлением, проявляя рассеянность, колебания перед лицом народа, пренебрежение к собственным правам. Другое ищет — пусть даже и весьма тонко — возможностей укрепления фундамента своего положения. Причем ищет их в прошлом, зарываясь все глубже. Какое непонимание реального положения дел! Это непонимание не лишено величия, однако его эффективность все же не так велика, как его ущербность. Разве вы можете этого не замечать?

КАМЕРГЕР: Я возражаю не против описаний, а против оценок.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Против оценок? Да ведь я, в видах достижения согласия, высказался даже мягче, чем мне того хотелось. И эту сдержанность в оценках я все еще проявляю, щадя вас. Скажу только одно: на самом деле князь не нуждается ни в каком укреплении

своего фундамента. Стоит ему потребить все средства его теперешней власти, и он увидит, что их достаточно для осуществления всего, чего от него может потребовать самое высокое чувство ответственности перед Богом и людьми. Но он стесняется установить жизненное равновесие, он идет по пути, ведущему к тирании.

КАМЕРГЕР: Да он скромное существо!

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Скромно одно из его существ, но все свои силы он отдает другому, сооружающему фундамент, рассчитанный на новую вавилонскую башню. Нужно мешать этой работе — вот единственная политика, которую должен вести тот, кому безразличны его личное положение, интересы государства, княгини, а возможно даже, и самого князя.

КАМЕРГЕР: «Возможно даже» — вы очень откровенны. Ваша откровенность, по правде говоря, заставляет меня трепетать перед возвешенным исходом. И я сожалею — в последнее время я вынужден сожалеть об этом все больше — о моей верности князю, делающей меня самого беззащитным.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Все стало ясно. Вы вовсе не заигрываете с партией наших врагов, вы ей просто подыгрываете одной рукой. Только одной — похвально для старого знатока придворных игр. Но единственная надежда, которая у вас остается, это надежда на часть нашего большого выигрыша.

КАМЕРГЕР: Я сделаю все, что в моих силах, чтобы его не случилось.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Меня это уже не беспокоит. (Указывает на сторожа.) А ты, умеющий так тихо притаиться, ты все понял, что сейчас было сказано?

КАМЕРГЕР: Сторож склепа?

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Сторож склепа. По-видимому, нужно было прийти издалека, чтобы разглядеть его. Не так ли, мой любезный старый филин? Видели бы вы, как он под вечер летит сквозь лес, никакими искусственными приспособлениями не поддерживаемый. Но при свете дня он съезживается от одного взгляда.

КАМЕРГЕР: Я не понимаю.

СТОРОЖ (чуть не плача). Я не знаю, господин, за что вы меня браните. Пожалуйста, отпустите меня домой. Я ведь не злодей какой, а сторож склепа.

КАМЕРГЕР: Вы опасаетесь его.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Опасаюсь? Нет, для этого он слишком ничтожен. Но я хочу, чтобы он был у меня под рукой. Потому что думаю — назовите это прихотью или суеверием, — что он не только орудие зла, но и самый что ни на есть почтенный, самостоятельный труженик на ниве зла.

КАМЕРГЕР: Он уже лет тридцать тихо служит при дворе и за это время, наверное, ни разу не был в замке.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: О, такие кроты роют длинные ходы, прежде чем вылезти на поверхность. (Неожиданно обернувшись к сторожу.) А теперь вон отсюда! (Слуге.) Отвести его во Фридрихспарк, оставаться с ним и больше не выпускать его оттуда без приказа.

СТОРОЖ (в сильном испуге). Я должен дожидаться здесь Его Высочества князя.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Это ошибка. Убирайся.

КАМЕРГЕР: С ним надо обращаться бережно. Он старый, больной человек, и князь каким-то образом в нем заинтересован.

Сторож низко кланяется камергеру.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Вот как? (Слуге.) Обращайся с ним бережно, но убери его наконец отсюда. Живо!

Слуга бросается к сторожу.

КАМЕРГЕР (преграждая ему дорогу). Нет, нужна повозка.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: О, этот придворный воздух! Не чувствую в нем ни крупинки соли. Хорошо, пусть будет повозка. Ты будешь сопровождать эту драгоценность в повозке. Но теперь уже наконец вон отсюда оба. (Камергеру.) Ваше поведение говорит мне...

Сторож на пути к двери тихо вскрикивает и падает.

(Топает ногой.) От него что, нельзя избавиться? Так вынеси его на руках, если сам не идет. И пойми наконец, чего от тебя хотят.

КАМЕРГЕР: Князь!

Слуга открывает левую дверь.

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: А! (Бросает взгляд на сторожа.) Я должен был это знать, призраки нетранспортабельны.

Быстрыми шагами входит князь, за ним появляется княгиня, черноволосая молодая женщина; стиснув зубы, она останавливается в дверях.

КНЯЗЬ: Что здесь произошло?

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Сторожу стало плохо, я собирался его вынести.

КНЯЗЬ: Следовало известить меня. Врача позвали?

КАМЕРГЕР: Я пошлю за ним. (Поспешно выходит в среднюю дверь и тут же возвращается.)

КНЯЗЬ (стоя на коленях над сторожем). Приготовьте для него постель! Носилки сюда! Где там врач? Сколько еще его ждать? Пульс совсем слабый. Сердце не прослушивается. Одни ребра под кожей... Как это все изношено. (Неожиданно встает, ищет что-то, оглядываясь вокруг, находит стакан с водой.) Совсем не двигается. (Снова опускается на колени, смачивает сторожу лицо водой.) Ну вот, теперь получше дышит. Не так еще все плохо, крепкий корень — до последнего удара держит. Но врача, врача! (Смотрит на дверь; в это время сторож поднимает руку и проводит ладонью по его щеке.)

Княгиня отводит взгляд к окну. Появляются слуги с носилками; князь помогает при погрузке.

Осторожно его берите. Ах, с вашими лапами! Голову приподнимите. Ближе носилки. Подушку глубже под спину. Руку! Руку! Никуда, никуда не годные вы санитары. Разве не будете и вы когда-нибудь такими же уставшими, как тот, кто у вас на носилках?.. Вот так... — а теперь самым-самым медленным шагом. И главное — равномерным. Я иду за вами. (В дверях — княгине.) Вот это он и есть, сторож sklepa.

Княгиня кивает.

Не так я хотел показать его тебе. (Сделав еще шаг.) Ты не пойдешь с нами?

КНЯГИНЯ: Я так устала.

КНЯЗЬ: Я вернусь, как только переговорю с врачом. И вы, господа, сможете представить ваши доклады. Подождите меня. (Уходит.)

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР (княгине). Нуждается ли Высочество в моих услугах?

КНЯГИНЯ: Всегда. Я благодарю вас за вашу бдительность. Не ослабляйте ее, несмотря даже на то, что сегодня она была напрасна. На карту поставлено все, а вы видите больше, чем я. Я заключена в своих четырех стенах. Но я знаю, что сумерки будут становиться все темнее и темнее. Осень в этот раз печальна сверх всякой меры.

Восьмая тетрадь

8.1.[113] Я привык во всем доверять моему кучеру. Когда мы уперлись в высокую белую стену, постепенно закругляющуюся вверх и с боков и загораживавшую проезд, мы поехали вдоль этой стены, ощупывая ее, и наконец кучер сказал: «Это — лоб».

8.2. Мы организовали маленькую рыбалку, построили хижину у моря.

8.3. Меня узнают незнакомые люди. Недавно во время одной небольшой поездки я с трудом протискивался со своим саквояжем по коридору переполненного вагона. И тут из полутьмы одного купе меня окликает явно совершенно незнакомый мне человек и предлагает занять его место.

8.4. Работа как радость; психологам недоступно.

8.5. Мутит: перебрал психологии. Тот, у кого хорошие ноги, может, если его выпустить в психологию, за короткое время пройти дистанцию любыми зигзагами, как ни на каком другом поле. Просто глаза на лоб лезут.

8.6. Я вырос в пустынном уголке земли. Почему я не в лучшей земле, я не знаю. Разве я не достоин? Этого нельзя сказать. Пышнее меня нигде не выростал ни один куст.

8.7.[114] О еврейском театре

Я не собираюсь заниматься здесь цифрами и статистикой, я оставляю их историкам еврейского театра. Мое намерение очень просто: я хочу представить несколько страниц воспоминаний о еврейском театре, о его драмах, его артистах, его зрителях, — представить то, что я в течение более чем десяти лет видел, изучал, в чем сам участвовал, или, другими словами, поднять занавес и обнажить рану. Только распознав болезнь, можно найти лекарство и, быть может, создать истинно еврейский театр.

Для моих набожных родителей, варшавских хасидов, театр, естественно, был таким же «трефным», как и «хазер»[115]. Театр бывал только на Пурим[116], потому что тогда мой кузен Хаскель наклеивал на свою маленькую светлую бородку огромную черную бороду, выворачивал наизнанку кафтан и изображал веселого еврея-торговца, — я не мог оторвать от него своих маленьких детских глаз. Он был самым любимым из моих двоюродных братьев, его пример не давал мне покоя; мне не было еще и восьми лет, а я, подражая кузену Хаскелю, уже играл в хедере. Когда ребе уходил, в хедере регулярно устраивался театр, в котором я был директором, режиссером, короче — всем, зато и от ребе мне потом доставалось больше всех. Нас это, однако, не останавливало; ребе нас лупил, но мы все равно каждый день выдумывали новые представления. И целый год я жил одной молитвой и надеждой: настанет Пурим, и я снова смогу увидеть, как переодевается в маскарадный костюм мой кузен Хаскель. В том, что потом, когда вырасту, я тоже буду на каждый Пурим переодеваться, петь и плясать, как кузен Хаскель, у меня сомнений не было.

Но о том, что рядиться можно не только на Пурим и что есть много других таких артистов, как мой кузен Хаскель, я, разумеется, даже не догадывался. Не догадывался до тех пор, пока не услышал от сына Израэля Фельдшера, что действительно существует театр, где играют, и поют, и переодеваются не только на Пурим, а каждый вечер, что такие театры есть и в Варшаве и что его отец уже несколько раз брал его с собой в театр. Меня — а мне было тогда примерно лет десять — эта новость буквально наэлектризовала. Тайное желание, о существовании которого я никогда не подозревал, захватило меня. Я считал дни, которые еще должны пройти до того, как я повзрослею и смогу наконец сам увидеть театр. Я тогда еще даже не знал, что театр — это запретное и греховное дело.

Вскоре я узнал, что напротив ратуши помещается «Большой театр» — самый лучший, самый красивый во всей Варшаве, да и во всем мире. С этого момента уже внешний вид здания буквально ослеплял меня, когда я проходил мимо театра. Но стоило мне дома однажды поинтересоваться, когда мы уже наконец пойдем в Большой театр, как на меня тут же накричали: еврейский ребенок не должен ничего знать о театре, это не разрешено, театр существует только для гоев и грешников. Ответ меня удовлетворил, я больше уже ничего не спрашивал, но лишился покоя и очень боялся того, что когда-нибудь обязательно совершу этот грех и, когда стану старше, все-таки непременно пойду в театр.

Однажды вечером после Иом Кипура[117] я с двумя кузенами проезжал мимо Большого театра; на улице у входа было множество людей, я просто не мог оторвать глаз от этого «нечистого» театра, и кузен Майер спросил: «Ты бы тоже хотел быть там, наверху?» Я промолчал. Мое молчание ему, по всей вероятности, не понравилось, и поэтому он прибавил: «Сейчас, детка, там нет ни одного еврея — Боже сохрани! Вечером, сразу после Иом Кипура, даже самый последний еврей не пойдет в театр». Из этих слов я, однако, извлек лишь то, что хотя, выйдя после святого Иом Кипура, ни один еврей в театр не пойдет, но в обычные вечера на протяжении всего года многие евреи, по-видимому, туда ходят.

На четырнадцатом году моей жизни я впервые побывал в Большом. Как ни мало я усвоил язык страны, афиши читать я мог, и однажды я прочитал на них, что будут давать «Гугенотов». Об этих «Гугенотах» уже говорили в нашем «монастыре», к тому же написал их еврей «Мейер Бер», так что я сам дал себе разрешение, купил билет и вечером впервые в жизни оказался в театре.

Что я тогда увидел и почувствовал, к моей теме не относится, скажу только одно: я пришел к убеждению, что там пели лучше, чем кузен Хаскель, и костюмы были тоже намного лучше, чем у него. И еще одно удивление, которое я вынес со спектакля: балетную музыку «Гугенотов» я, оказывается, давно уже знал, ведь на эти мелодии пели в «монастыре» «Леха Доди»[118] по пятницам вечером перед шабатом. И я не мог тогда уяснить себе, как это возможно, что в Большом театре играют то, что уже так давно поют в «монастыре».

С тех пор я стал в опере частым гостем. Я только не должен был забывать покупать на каждое представление воротничок и пару манжет, а по дороге домой выкидывать их в Вислу. Мои родители не должны были видеть таких вещей. В то время как я наслаждался «Вильгельмом Теллем» или «Аидой», мои родители пребывали в твердой уверенности, что я сижу в «монастыре» над фолиантами Талмуда и штудирую Священное Писание.

Спустя некоторое время я узнал, что существует и еврейский театр. Но как ни хотелось мне пойти туда, я не осмеливался, так как это очень легко могло стать известно моим родителям. Напротив, на оперы в Большой я ходил часто, а позднее — и в польский драматический. Там я впервые посмотрел «Разбойников». Меня страшно поразило, что можно создать такой замечательный театр без пения и музыки — никогда бы этого не подумал, — и, как ни странно, я не разозлился на Франца, наоборот, он произвел на меня наибольшее впечатление, я хотел бы играть его, а не Карла.

Среди товарищей в «монастыре» я был единственным, кто осмеливался ходить в театр. А в остальном мы, ребята из «монастыря», были уже знакомы со всеми «просвещенными книжками»; я тогда впервые прочел Шекспира, Шиллера, лорда Байрона. Правда, из книг еврейских авторов мне в руки попадали только большие криминальные романы на полунемецком-полуидиш, которыми нас снабжала Америка.

Прошло немного времени, и я уже не находил себе места: в Варшаве есть еврейский театр, а я не могу в него сходить? И я рискнул, бросил все на билетную карту и пошел в еврейский театр.

И это все во мне перевернуло. Еще до начала спектакля я почувствовал себя совершенно иначе, чем у «тех». Прежде всего никаких господ во фраках, никаких дам в декольте, никакого польского и никакого русского — одни евреи всех мастей в обычной городской одежде, долгополые, короткополые, женщины, девушки. Все громко и без стеснения говорили на родном языке, я в своем длинном кафтанчике никому не бросался в глаза, мне несколько не приходилось стыдиться за себя.

Давали комическую драму с пением и танцами в шести актах и десяти картинах «Бал-Чувств[119] из Шумора». Начали не так точно в восемь, как в польском театре, а лишь где-то около девяти и закончили лишь далеко за полночь. Любовник и интриган говорили на «литературном немецком», и я был потрясен тем, что сразу — не имея даже понятия о немецком языке — смог так хорошо понять такой превосходный немецкий. А на идиш говорили только комик и субретка.

В общем, мне это понравилось больше, чем опера, драмтеатр и оперетта, вместе взятые. Потому что, во-первых, это все-таки было на еврейском, правда на немецко-еврейском, но все же на еврейском, на лучшем, на более красивом идиш, и, во-вторых, тут ведь было всё вместе: драма, трагедия, пение, комедия, танец — всё вместе, — жизнь! От возбуждения я не спал всю ночь; сердце говорило мне, что когда-нибудь и я буду служить в храме еврейского искусства, что и мне суждено стать еврейским актером.

Но на следующий день, вечером, отец отправил детей в соседнюю комнату, велел остаться только мне и матери. Инстинктивно я почувствовал, что эта «каша» заваривается для меня. Отец уже не садится, он все время ходит по комнате взад и вперед, теребя свою маленькую черную бороду, и говорит, обращаясь не ко мне, а только к матери:

— Ты должна знать, он становится хуже день ото дня, вчера его видели в еврейском театре.

Мать испуганно всплескивает руками, отец, совершенно белый, непрерывно ходит по комнате взад и вперед, у меня сжимается сердце, я сижу, как приговоренный, я не могу видеть эту боль моих дорогих набожных родителей. Мне уже не вспомнить сегодня, что я тогда говорил, помню только, что после нескольких минут подавленного молчания отец поднял на меня свои большие черные глаза и сказал:

— Подумай, дитя мое, это заведет тебя далеко, очень далеко.

И он был прав.

8.8. В конце концов в трактире остался, кроме меня, еще только один посетитель. Хозяин собрался закрывать и попросил меня расплатиться.

— Там еще один сидит, — сказал я брюзгливо, так как понимал, что уже пора, но не имел никакого желания ни уходить отсюда, ни вообще идти куда бы то ни было.

— С этим сложности, — сказал хозяин, — не могу объясниться с человеком. Вы мне не поможете?

— Эй! — крикнул я сквозь сложенные рупором ладони, но человек не пошевелился и так же спокойно, как до этого, продолжал смотреть, наклонив голову, на пиво в своем стакане.

8.9.[120] Была уже поздняя ночь, когда я позвонил у ворот. Прошло немало времени, пока не появился — явно из глубины двора — кастелян и не открыл мне.

8.10. — Господин просит пожаловать, — сказал слуга, склонился и бесшумным толчком отворил высокую стеклянную дверь.

Граф чуть ли не бегом спешил мне навстречу от своего письменного стола, стоявшего у открытого окна. Мы взглянули друг другу в глаза, его жесткий взгляд неприятно поразил меня.

8.11. Я лежал на земле под стеной и корчился от боли, мне хотелось завернуться в эту влажную землю. Егерь стоял около меня, слегка наступив мне одной ногой на поясницу.

— Порядочная туша, — сказал он загонщику, разрезавшему на мне воротник и куртку, чтобы ощупать меня.

Уже утомившиеся мной и жаждавшие новых дел собаки бессмысленно наскокивали на стену. Подъехала повозка; связанный по рукам и ногам, я был брошен на заднее сиденье к господину так, что мои голова и руки свешивались наружу. Ехали весело; умирая от жажды, я хватал раскрытым ртом высоко клубившуюся пыль; время от времени я слышал на своих икрах радостные пожатия господина.

8.12. Кого несусь я на моих плечах? Что за призраки повисли на мне?

8.13. Был ненастный вечер; я увидел, как из кустов выбирается маленький дух.

Ворота захлопнулись, и я остался с ним с глазу на глаз.

8.14. Лампа разлетелась на куски, вошел незнакомый мужчина с новым светильником, я встал, вместе со мной поднялись мои домочадцы, мы поклонились, на это не обратили внимания.

8.15. Разбойники связали меня, и я лежал там, неподалеку от костра атамана.

8.16. Пустые поля, пустые пространства, сквозь туман — бледная зелень луны.

8.17. Он покидает дом, он оказывается на улице, лошадь готова, слуга держит стремя, он скачет в гулкой пустоте.

Кухня К

(Записки переведшего)

— Сюда, пожалуйста, располагайтесь. Вот там, за этой легкой перегородкой толщиной в один книжный лист, — кухня гения. Вам удобно? Чудесно. Вы там уже были? Ну, сможете заглянуть в любой момент, на его кухне замков нет, не нужны. Впрочем, там у него и столовая, и гостиная, и при его сугубо-смежной жизни это неудивительно, не правда ли? Так вам кухню или?.. Его пока нет, но он скоро появится — или проявится, не знаю, как сказать, ну вы увидите. А пока посмотрите вот типа семейный альбом: «классики о классиках» (занятное, кстати, это словцо «типа» — его типа слово, так и кажется, что оно догоняет его, оставшегося далеко в прошлом; мы-то не всегда догоняем, а словечко вот... извините, отвлекся).

Знаете, своеобразного характера и дарования был человек. Вы слышали, конечно, но все же... Многие ли пишут для того, чтобы не быть напечатанными? Или, уходя, завещают сжечь все ими написанное? Пишут всю жизнь, живут только этим, но почти ничего не публикуют и даже не дописывают до конца, словно бы для того, чтобы нельзя было опубликовать. Друзья пинали его, извините, во все места: «Печатай!», а его рукописи Макс Брод у него чуть не силой отбирал, чтоб не сжег, негодяй. Да, имел обыкновение, такой вот был самопальный Герострат. Ну, конечно, «силой» — это преувеличение. В его пространстве с ним, с этим слабым, тихим, вечно мерзнувшим человеком, ничего нельзя было сделать силой, да и там, в пространствах этих, там ведь действуют другие силы. Мы их не знаем, и Брод, хоть и сам был писатель, ими не владел. Но любовь к другу — есть такой человеческий дар — это ведь тоже сила. Она, как всякая любовь, пронизательна, она находит средства; иногда, знаете, довольно смешные. Макс влюблялся в каждую новую вещь Кафки и выпрашивал у Франца рукописи, которые тот не хотел печатать. А иногда — выменивал. На что? — на его же рукописи, добытые раньше! А потом старался вернуть и старые, потому что любил и их, хотя новые — больше. И это все тут, что на кухне, тоже только благодаря Максусе осталось: сохранил, подготовил, опубликовал. Такой вот Сальери наоборот. А некоторые у нас теперь знаете что говорят? Говорят, мол, «знамо дело, примазался к славе», такова уж благодарность наша. Да и к чему было примазываться-то? Ведь первую свою книжечку, «Наблюдение» (99 страниц, и то благодаря крупному шрифту: в сборнике «Мастер пост-арта» вся эта книжечка заняла 25), Кафка опубликовал на тридцатом году жизни, тиражом в 800 экземпляров; его не знал никто. Примазался! Без него Кафка так и остался бы автором нескольких таких же крохотных книжек, и еще не известно, знали бы мы сегодня имя гения, изменившего ход мировой литературной истории...

А вот это уже не преувеличение — вы загляните в альбомчик-то, загляните.

«Этот пражский еврей Кафка... смутит и восхитит каждого, кто впервые откроет его книгу. Правда, иных многое в нем отталкивает и пугает. Меня он не перестает волновать с тех пор, как... я впервые прочитал один из его магических рассказов. Спорить об этом страстном творце... думать о нем будут и тогда, когда канет в вечность большая часть того, что составляет немецкую литературу нашего времени».

Герман Гессе

«Давно я не читал ничего столь же прекрасного, умного, сбалансированного, как эта „Китайская стена“. Если вы еще не прочли, вы должны сделать это немедленно...»

— Вы морщитесь? Вам надоели «презентации»? Да, реклама у нас все пропитала ложью, а понимания мало...

«В настоящее время Кафка в большой моде, и при этом, пожалуй, ни один из всех этих критических недомерков так и не понял, в чем истинное величие Кафки...»

Герман Брох

— Оглядитесь, в этой кухне множество окон — и из каждого открывается свой удивительный вид. Вот взгляните: 6.6, хижина в лесу. Что «ну и что?». Да вы зайдите в нее, прислушайтесь и скажите: что за невидимый мучитель обитает в этой хижине? Заметьте, именно там, где вы находите хоть какое-то убежище. Не совсем, правда, надежное убежище, дверей нет, ни от чего не отгородиться, но все-таки. И надо же, чтобы именно в том углу, где предполагаешь лечь, оказался какой-то невидимый мучитель. Пожалуй, ведь будет мешать спать? А иной раз, наверное, и совсем не даст заснуть... Что же это за мучитель и нельзя ли как-нибудь заглушить его муки — или сделку какую-нибудь заключить... Уже? А не надует? — дверей-то нет.

А что за чудовищная лошадь выросла в записи 3.177? И откуда? Да кто его знает, что за лошадь, хотя... что-то в ней словно бы знакомое. Где-то уже появлялась такая гигантская, погодите... — у Дали! В «Искушении святого Антония» — она? Ну, может быть, и не

она, но, похоже, из одного стойла, а? Такое же «подрагивающее в лихорадке жизни» животное, как в записи 5.30. И бесполезно отказываться и говорить «это не моя лошадь». Других нет. Да, в пространствах за этими окнами с вами случаются странные истории.

А вот окно в вашу альтернативную историю. Когда-то в детстве, а может быть и позднее, вы наверняка представляли себя живущим в иных мирах, в иное время. И кем вы себя представляли? Видимо, как и большинство: рыцарем, принцессой, волшебником, Длиннымчулком — выберите и поставьте крестик. Запись 8.11 дает вам еще одну, должно быть, неиспользованную вами возможность почувствовать себя в чужой шкуре. О таком переселении душ вы и не мечтали.

Сны? Да, можно сказать, все это окна, распахнутые в сон. Но, попытавшись вырваться из вязкой, липкой, тянущейся за вами пленки ужасных «чужих» сновидений, вы оказываетесь... снова у раскрытого окна 2.6. Что будет дальше — вдох полной грудью или?.. текст обрывается. Неопределенность, неясность, недосказанность; герой в каком-то бесконечно взвешенном состоянии.

Многие замечали, что у Кафки герой вообще никогда не знает, что ему делать, куда идти, к кому обратиться. И мы, читая Кафку, тоже становимся его героями. Но тут, за листом, на его кухне, наверняка завалялись какие-нибудь обрывки планов, карт, путеводных нитей. И так, «куда ж нам плыть?» Здесь это не вопрос: в 5.23 мы в лодке «с ничтожной осадкой» безнадежно плывем вокруг мыса Доброй Надежды. Ну, рифов вы не боитесь, однако впереди-то все та же мгла туманная, не правда ли? Туман, туман за этими окнами — да и перед ними. Так что, может быть, это совсем и не окна, а двери. Но тогда за ними начинаются дороги, и они куда-то ведут. Куда же они ведут? «Подальше отсюда» — сказано в одном из маленьких рассказов (они все тут были раскиданы, но маленькие рассказы Кафки принято выносить с его кухни и подавать как отдельное блюдо). И что значит это «подальше»? Бегство, пораженчество? А вот, смотрите, в записи 4.86 словно бы уточнение: «подальше от меня». Но здесь вы, конечно, вспомните мои предположения о дверях, усмехнетесь — или, если угодно, упрямо усмехнетесь — и ответите мне словами Кафки: «Может, лучше сядешь в уголке и помолчишь?.. Где же тут дверь?.. В этой комнате ее нет». Пожалуй, и нет, но это потому, что перед выходом надо хорошо представить себе, что будет дальше. В подробностях, как в 1.19. И если так хорошо представить, увидеть остановленное поперечное сечение проплывающей мимо реки, то, может быть, и не надо будет выходить в живую жизнь, вылезать из норы?

Однако же нет, надо. И лошадь, как мы помним, готова, отправление в 5.30. Да что, в конце концов, значит «не ваша»? какую вам надо-то? Не такую норовистую? Что за капризы. Прекрасная лошадь; опять-таки, других нет, так что очень даже ваша. Сбросит? Ну, в конце концов, мир полон бывших всадников, не справившихся с управлением, чем вы лучше? Так вы едете или распрягать?

Что же это за «стоячая волна» такая: все колеблется, а движения нет. Когда наконец появится герой, который что-то свершит? В 8.17. И что же он совершает? «Он скачет в гулкой пустоте». Но если, снова вспомнив другого вечного автора, спросить: «куда?» или «что значит это наводящее ужас движение?» — будет ответ? Да, будет, но такой же странный, как в 6.7: «вперед, вперед, никаких остановок!» Что же выражают эти мотивы неначавшегося пути, ускользающей цели? Быть может, какую-то «несогласуемость» жизни — непреодолимое противоречие между человеческими устремлениями и невозможностью их осуществить. Вот вам и еще дорога, она хорошо накатана: эта дорога ведет к «Замку». А приведет? К Замку — нет. К «Замку» — да.

Ну, хорошо, скажете вы, все это очень мило, но мне что же, предлагается что-то там за него додумывать — или как я должен все это понимать? Должны? Но почему же должны, разве это обязательно? Положим, случилось мне услышать «Болеро» Равеля — что я должен в нем «понять»? Ничего не должен. (Да и что там, собственно, понимать: пятнадцать минут идут, усиливаясь звуком, повторы какой-то простенькой мелодийки, и — «облом»! Всё. Что тут понимать? Да, казалось бы, что тут и слушать — а вот, как ни странно, слушается.) Так можно читать и Кафку.

Слышу, однако, слетающие с немого неба записи 3.102 раскаты внутреннего голоса — моего (или вашего?) эха немoty: «Да что тут читать-то? Обрывки какие-то, никакого впечатления». Ну, как известно, и Джоконда не на всех производит впечатление, но посмотреть все же стоит (будете недалеко от Лувра — загляните, это должно быть любопытно). Есть вещи, которые воздействуют на нас независимо от нашего впечатления. Тем более что мы обычно ждем — и желаем — впечатления мгновенного, резкого, а тут какие-то недоделки, недосказки, недоулыбки... А вы спешите. И лишнего времени, чтобы во что-то там всматриваться или вслушиваться, у вас нет. Нет? Вот и чудесно! Тогда все это как раз для вас: посмотрите, какие короткие записи, — вдохнул глазами и выдохнул. И ничего не осталось? Не беспокойтесь об этом, дышите. Мы же не видим кислород, который вдыхаем, а он есть. И в этих отрывках короткого дыхания он тоже есть, не сомневайтесь... Опять слышу: «Не агитируй. Покажи». Что показать? Кислород? «Да не надо мне твоих сравнений — конкретно покажи, что тут читать». Конкретно? — безнадежное дело.

Впрочем, где же еще заниматься безнадежными делами, как не в пространствах Кафки... Попробуем.

Проведем маленькое расследование. Загляните в запись 3.84. Что скажете? Три фразы, слабо связанные друг с другом? Нет, не слабо. Добавим увеличения — «блю ап!» — и в поле зрения остается одна центральная фраза: «Опустить на грудь голову, полную отвращения и ненависти». Фраза известна, это афоризм № 42 из «Рассуждений о грехе...». Как мы воспринимаем этот афоризм? Есть версии? Ну, похоже, это некая образная форма ухода: голова, полная отвращения и ненависти, становится слишком тяжела, человек склоняет голову на грудь (характерный для героев Кафки жест!), горбится, опускает взгляд, отделяя себя от чего-то или от кого-то, замыкается в себе — явно от бессилия, ведь ненависть всегда рвется наружу. Не слишком вдохновляющая картина, не правда ли? И автору не позавидуешь: пессимизм, безнадежность и в перспективе только разлитие желчи. Это дает афоризм; так мы воспринимаем его, не видя обрамляющих фраз. Добавляют ли они что-нибудь? Вот первая, одно слово: «Вечер». Следовательно, отвращение и ненависть это результат, итог дня, а в переносном смысле — итог прожитого. Отлично, наша версия подкрепляется; первая фраза подтверждает расширительное прочтение афоризма: речь идет об отвращении и ненависти ко всему этому миру, перед которым человек оказывается бессилён и от которого хочет уйти в себя. Ну-с, что же нам даст заключительная фраза? «Конечно, но что, если тебя схватили за горло и душат?» То есть как это «что?» — я буду бороться!

А как же «уход в себя»? Да какой там, к черту, уход, когда душат! А «бессилие»? Да кто об этом думает, когда борется за жизнь! И вот вырисовывается совсем другая картина: не уход, не бегство от враждебного мира, а яростная борьба с ним — изо всех сил, до последнего вдоха. Расследование дало неожиданные результаты, да и в портрете автора проявились новые черты. А «голый» афоризм, без тетрадей, производил другое впечатление. Вот, с кухни-то, получается, обзор получше, а?

Какой, однако, несговорчивый мне попался внутренний голос: он опять недоволен. «Что это за чтение — три фразы под лупой рассматривать? Нанотехнологии какие-то, никакого впечатления». Можно взять текст побольше, в тетрадах есть. Возьмем-ка мы «Егеря Гракха», он того стоит.

Нет, знаете ли, это не просто наше привычное «умер, но не уходит». Ничего особенного? Ну, это вы его, видимо, очень быстро пробежали. И пробежали мимо. Да нет, никаких особых... просто, чтобы увидеть картину, вы же останавливаетесь: на бегу не увидится. Перечитайте первые фразы. Они очень просты: скромная картина маленькой гавани. Но вы приблизьте ее, расширьте угол внутреннего зрения — ведь это картина мира! Войдите в нее, она задает новое измерение, задает умножение смыслов; она ведь не зря в начале — это камертон, на звук которого простые слова рассказа откликаются эхом бесконечного пространства. Прислушайтесь...

«Зажигали... длинные свечи, которые, однако, света не давали, а только вспугивали покоившиеся до того тени, заставляя их буквально метаться по стенам». «Я с удовольствием жил и с удовольствием умер»; «я радостно скинул с себя, перед тем как взойти на борт, грязное снаряжение, которое всегда носил с такой гордостью: штаны, сумку, ружье...» Зерна смысла брошены в рассказе, как зерна голубям с палубы вечного челна, — без счета, широким жестом. Можно поклевать, можно прохлопать крыльями. Торговец фруктами лежит подле своего товара и смотрит на море. Что, не посмотрелся? Ну, время такое, нет покупателей. Но, может быть, он совсем не хотел становиться торговцем, а, напротив, мечтал стать благородным пиратом? Вот, не получилось благородным. Время такое. Нет покупателей... Хозяин пивной дремлет за столом недалеко от двери. Почему не за стойкой, а недалеко от двери? Так понадежней: у причалов народ шустрый... Но вы ведь интересовались собственно кухней? Пожалуйста, вот фрагмент к «Гракху». Прошло четыре месяца (фрагмент написан весной 1917 г.) — и посмотрите, это уже не совсем тот егеря. Его характер меняется у нас на глазах, и что-то в нем появляется как бы смутно знакомое нам, нет? Он невежлив, потому что «говорит то, что думает». И хотя он делает это уже после смерти, звучит все равно грубо. Однако и его вежливый собеседник заявляет, что не решается пить из его стакана, — что это? Брезгливость? Но ведь он явно воспитанный человек, брезгливость он бы скрыл. Что же он не скрывает? Он не скрывает страха заразиться бессмертием!.. Нам трудно судить о том, что за гранью, однако посмотрите: есть вещи сильнее смерти. Узнав, что перед ним «господин бургомистр», этот грубый, дикий, но не забывший господ егеря переходит с «ты» на «вы». Хоть это теперь и не его начальство, а все же... Привычка сильнее.

Иногда, знаете, кажется, что у Кафки за любой деталью, за любым, самым обычным словом что-то прячется; один пронизательный француз так и написал: «В каждом слове тайник». Задержишься на слове — и что-то всплывает, кликнешь — и из какого-то непонятого гиперпространства, из раскинутой задолго до нас паутины на тебя вылезает... м-да. Нет, «Егеря» — это рассказ... это вообще не рассказ, это какое-то «проникающее ранение, несовместимое с жизнью». Жаль, что он не дописан. Какая великая вещь рождалась... Или родилась? Но ведь хочется концовки, закругления, точки, не правда ли? Или эта вещь в самом деле не могла быть закончена и оборвалась на последнем разрешенном рубеже — или даже за ним, уже на ничейной земле, где все уносится ветром из тех нижних пределов смерти? Видимо, и в искусстве есть области, куда вход воспрещен: несовместимо с жизнью. (Нет, это не «посторонним вход воспрещен»: искусство не служебная зона, это зона служения, которую посторонние обычно не замечают.) Впрочем, не исключено, что Кафка просто бросил сюжет, как он часто делал... «Ну, и дальше что?» О, мой внутренний, трудно же тебя пронять! «Зубы не заговаривай. О чем рассказ?» Как?! Ты прочел рассказ и не знаешь, о чем он? «А ты-то знаешь? Или так перепёр?» Сомнение тут — спутник неизбежный, но если смысл ускользает, значит, надо прочесть еще раз, подумать, прислушаться к отзвукам в душе... «Короче. Знаешь — говори». Но ведь это же такой сад расходящихся смысловых тропинок — кто знает, куда они заведут, они могут пересекаться, теряться, возвращаться к началу, уходить за ограду... «Тоже не знаешь?» Но ведь тебе же надо «конкретно», а здесь не так. Здесь можно только сказать, что речь о том, что шире пределов человеческой жизни, но далеко не безразлично для нее.

А вот вам все равно не нравится, и ничего вы в нем не находите. Что ж, это ваше право. Знаете, Уистен Оден, который был не только поэтом, но и пронизательным критиком, писал, что, может быть, Кафка обречен на то, что его будут читать не те читатели. (Видите, значит, все, кто его читали и читают, это не те читатели. А вы не хотите? — значит, вы пока еще тот читатель.) Почему «не те»? Ну, Оден считает, что Кафка был бы полезен как раз тем, кто его не любит. А тем, кто любит, он вреден и даже опасен. И что, может быть, он завещал сжечь все им написанное, чтобы никому не навредить. Да-с, деликатность, по нынешним временам уже не укладываемая... Впрочем, это всего лишь предположения. Еще альбомчика?

«Кафка написал... редкостные, недостижимые книги, которые никогда не будут прочитаны до конца».

Курт Тухольский

«Писатель, который полнее всех выразил наш век».

Элиас Канетти

«Такие гении, как Кафка...»

— Что тебе опять не нравится?

— «Гений, гений» — да где эта гениальность-то, в чем она?

— Ты можешь предсказать, что придет в мир через двадцать, пятьдесят или сто лет? А он это сделал. Вещдоки где? Ну, я мог бы предложить тебе добраться до «Замка» или открыть «Процесс». Но чтобы не выходить из кухни — хорошо сидим! — загляни здесь за его «Китайскую стену», и ты увидишь за ней кадры советской кинохроники и услышишь закадровый текст. А в записи 3.139 прямо заявлено существование «множественных личностей», которое будет обнаружено психиатрами через полвека. А в 4.4 предсказано то ускорение времени, которое мы только сейчас начинаем осознавать. Его тексты полны предсказаний, предвосхищений — и никто не знает, сколько там еще не прочитано, не понято. И не будет понято, пока мы такие, какие мы есть. Ведь гениальность в одной из своих проекций — это небывалая точка зрения, с которой в знакомом пространстве нашего мира открываются незнакомые, иные измерения, иная топология, связность, причинность, — и иными оказываемся мы. Да, с каждым новым прочтением Кафки мы меняемся. И он

меняется... Ты там страничку-то не дочитал.

«...рождаются раз в столетие».

Герман Брох

«Искусство Кафки вынуждает вновь и вновь перечитывать его произведения... Мы подходим здесь к границам человеческого мышления».

Альбер Камю

«Пока люди будут читать, они будут читать Кафку».

Хорхе Луис Борхес

Такие дела. Ну, вам, наверное, уже пора? Да и мне, пожалуй. Да-да, в живую жизнь, конечно. И все же что-то, мне кажется, могло вас здесь удивить или заинтересовать: в этих пространствах Кафки странно, но интересно. Нет-нет, разумеется, я понимаю, я ни в чем вас не убедил — так, посидели на кухне, поговорили. И замечательно! Несогласие с чужим прочтением — это уже шаг к собственному, а лиха беда... в смысле — в добрый путь. (Тот маленький рассказ «В путь» кончается словами: «Ведь это, к счастью, и в самом деле чудовищное путешествие».) Впрочем, отправляться в этот путь никто не обязан. Без Кафки можно прожить. И без Равеля можно, и без Леонардо. Просто ваша жизнь могла быть побогаче, а будет победнее. Вы согласны? Да еще и те, которые ничего на самом деле в этих раვეлях не смыслят, но звон слышали, будут чувствовать свое превосходство над вами — и с усмешкой его демонстрировать. Ладно, бог с ними. Никто не знает, для чего читать Кафку; даже, кажется, и вопрос этот «для чего?» из какого-то другого пространства. Но ведь не для того же, чтобы кому-то что-то демонстрировать. А тогда все-таки — для чего? Ну, может быть, для души. Вы согласны?

Г. Ноткин

Примечания

В состав наследия Кафки входят восемь маленьких голубых тетрадей ин-октаво (как вспоминает М. Брод, такие тетрадки в гимназии они называли «словариками»). Эти тетради относятся к периоду 1917–1919 годов и вначале ведутся параллельно с одиннадцатой и затем двенадцатой «большими» дневниковыми тетрадями ин-кварто, но с ноября 1917 по июнь 1919 года Кафка дневник не вел, и «голубые тетради» заполняют, таким образом, возникшую лауну. Однако, как отмечает Брод, в этих тетрадях почти нет «подневных» заметок, даты встречаются редко, события личной жизни и разного рода будничные происшествия везде лишь обозначены немногими словами (записанными к тому же более мелким почерком, чем как бы подчеркивается незначительность содержания), и большая часть записей — это наброски художника, фрагменты рассказов, афоризмы, размышления, небольшие законченные новеллы, а также неоконченная пьеса «Сторож склепа».

То есть тетради ин-октаво — это, по существу, творческие записные книжки писателя. По этой причине М. Брод не включил их в том дневников, а перенес в том произведений из наследия.

В первой тетради, помимо представленных текстов, содержатся также известные рассказы — такие, например, как «Шакалы и арабы», «Мост», «Егерь Гракх», «Всадник на ведре».

Продолжение рассказа «Всадник на ведре».

Черновик письма писателю и историку литературы Паулю Виглеру, выпустившему во время войны избранные письма Бетховена и Шопенгауэра. «У. В.» в начале письма — «Уважаемый Виглер».

Набросок к рассказу «Новый адвокат».

1.14, 1.15, 1.17. Варианты к рассказу «Воззвание».

Имеется в виду книга Ludwig Richter «Lebenserinnerungen eines deutschen Malers» (Людвиг Рихтер. «Воспоминания немецкого художника»).

После записи 1.18 Кафка набрасывает первый вариант состава сборника «Сельский врач»: «На галерке», «Кастовый дух» (по-видимому, это вариант заглавия рассказа «Посещение шахты»), «Всадник на ведре», «Всадник» (возможно — вариант заглавия рассказа «Соседняя деревня»), «Купец» (возможно — вариант заглавия рассказа, опубликованного Бредом под заглавием «Сосед»). Далее следует, как отмечает Брод, трудночитаемый черновик письма неизвестному адресату (возможно, это врач-натуралист из Варнсдорфа Шнитцер); Брод уверен, что речь в письме идет о сестре писателя Оттле [Заметим, что если Брод прав, то возраст сестры в письме указан неточно] в сельскохозяйственных экспериментах которой Кафка, подолгу гостивший у нее в Цюрау и затем в Плане, принимал живое участие, по крайней мере в качестве пациента-испытателя. Вот этот текст:

«У меня есть сестра двадцати семи лет, здоровая [одно слово не прочитывается], веселая, осмотрительная и все же достаточно уверенная в себе — между прочим, уже несколько лет строгая вегетарианка в недрах плотоядной семьи. До сих пор она была занята в деле родителей, однако теперь под влиянием ряда внешних и внутренних причин хочет осуществить свое старинное желание, а именно попробовать себя в агрономии. Она хочет закончить какие-нибудь сельскохозяйственные курсы и затем подыскать себе соответствующее место. Вы, с Вашим огромным опытом и кругозором, несомненно, могли бы дать хороший совет, который имел бы для нее решающее значение. Очень прошу Вас об этой дружеской услуге».

Брод указывает, что для датировки этой тетради, то есть определения ее в качестве второй, решающим явилось то обстоятельство, что содержащийся в ней рассказ «Доклад для академии» в ноябре 1917 г. уже был опубликован (см. прим. 3.6). Помимо этого рассказа и фрагментов к нему, во второй тетради содержатся: рассказ «Сосед» (у Кафки он записан без заглавия), рассказ «Химера» (заглавие авторское) и фрагмент к рассказу «Егерь Гракх».

Рассказ «Егерь Гракх» написан в декабре 1916 г.; впервые опубликован в 1931 г. Существенно отличающийся от основного текста фрагмент написан в апреле 1917 г.; впервые опубликован в 1937 г.

Собственно запись 2.1 — вариант к рассказу «Химера».

Третья и четвертая тетради содержат отдельные датированные записи, благодаря этому мы знаем, что они сделаны в Цюрау, где Кафка жил у сестры, восстанавливая силы после первого легочного кровотечения. Из записей этого периода он позднее отберет и выпишет на отдельные листки те афоризмы, которые Брод опубликует под заглавием «Рассуждения о грехе, страдании, надежде и пути истинном», оставив их в то же время в корпусе текстов «голубых тетрадей» для сохранения контекстуальных связей.

В оригинале: «Furcht vor der Nacht: Furcht vor der Nicht-Nacht».

Вторая и третья фразы записи 3.5 — это афоризм № 1 из «Рассуждений...».

В октябре 1917 г. в редактируемом Мартином Бубером журнале «Der Jude» появился рассказ Кафки «Шакалы и арабы»; в ноябре — рассказ «Доклад для академии».

Вторая фраза записи — афоризм № 2.

После слов «В постели» идет афоризм № 3.

Рассказ, опубликованный Бродом под заглавием «Железнодорожные пассажиры».

Афоризмы № 4, № 5 и № 6.

Первые две фразы записи — афоризмы № 7 и № 8.

Вариант рассказа «Будничное происшествие».

Рассказ «Молчание сирен».

Рассказ, опубликованный Бродом под заглавием «Общество мошенников».

После даты — афоризмы № 15 и № 16.

Как поясняет М. Брод, в оригинале употреблен областной глагол «hutzen», означающий «сидеть вместе и болтать обо всем на свете».

Блюэр Ганс (1888–1955) — немецкий писатель, прославившийся своим антисемитизмом; Таггер Теодор (1891–1958) — австрийский писатель. Оба автора упоминаются и в «Дневниках» Кафки.

Афоризмы № 21, 22, 23, 24 и 25.

Афоризмы № 28, 29 и 29*.

Афоризмы № 31, 32, 33 и 34.

Вторая фраза записи — афоризм № 42.

Афоризмы № 52, 53, 54, 54*, 55, 56, 57 и 58.

Вайс Эрнст (1884–1940) — австрийский писатель.

Кернер Йозеф (1888–1950) — немецкий ученый-литературовед. В. Мель, как полагает Брод, — коллега Кафки по работе.

Пфоль — один из начальников Кафки, Пршибрам — соученик.

«Ф.» — Фелица Бауэр; они с Кафкой еще помолвлены, разрыв произойдет в конце декабря.

Баум Оскар (1883–1940) — писатель, друг Брода и Кафки.

Афоризмы № 76, 76*, 77 и 78.

Вторая фраза — афоризм № 80.

После слов «восходит к этому страху» вставлено: «Дав совет, змея выполнила свою работу лишь наполовину, она должна еще попытаться сфальсифицировать то, чего добилась, то есть в буквальном смысле укусить себя за хвост». — Прим. М. Брода.

Афоризмы № 87 и № 88.

Афоризмы № 90 и № 91.

После слов «ты подавляешь себя» идет афоризм № 92 — до слов «Создавались все новые...».

Начинаются записи 1918 г. Кафка по-прежнему живет в Цюрау (периодически выезжая в Прагу для продления отпуска по болезни) и пытается немного работать в садах Помологического института под Прагой.

Ленц Якоб (1751–1792) — немецкий писатель.

Кафка в это время ведет переписку с издательством Курта Вольфа по поводу книги «Сельский врач».

Афоризмы № 95 и № 96.

После слов «с позитивным» идет афоризм № 97.

«Мгновение» — название журнала Кьеркегора (см. «Нева». 1993. № 3).

Брод полагает, что здесь у Кафки описка и вместо «интуиция» должно было быть «интенция», а вся запись связана с работой их общего друга философа Феликса Вельча «Опыт и интенция», вышедшей в 1918 г.

Афоризм № 102 (вторая фраза в афоризм не вошла).

Афоризм № 106 (после даты).

Афоризмы № 107 и № 108.

Брод указывает, что записи с 4.75 по 4.80 представляют собой обсуждение работы Кьеркегора «Страх и трепет», а записи 4.81 и 4.82 — критику Кьеркегора; кроме того, двумя страницами раньше Кафка выписывает в тетрадь термины Кьеркегора «рыцарь бесконечности» и «рыцарь веры», сопровождая их следующей записью: «Задняя мысль Авраама — Значение — Один и тот же голос посылает его туда и возвращает обратно».

В первоначальной редакции эта запись была сделана от первого лица, она начиналась: «Моя духовная нищета» и т. д.

Брод сообщает, что к четвертой тетради приложен листок с наброском ходатайства в защиту некоего бедного, всеми покинутого слабоумного — по-видимому, с целью уберечь его от военной службы. Вначале идут сведения о его родственниках, о дяде, мяснике из Зааца, о другом дяде из Оберклее, о сестре, которая «не в счет», об отсутствии родителей. Далее следует такой текст: «Он ненормален, дело дошло даже до ковыряния в глине, поэтому он был признан негодным; да и по возрасту его уже не должны были брать. Он напрашивался, не понимая на самом деле, на что шел. Писать и считать он не умеет, о самостоятельной торговле мясом или овощами не может быть и речи, поэтому руководство не может брать на себя такую ответственность. Возможно, однако, что он был бы в состоянии помогать своим родственникам при закупках скота, его получении, перегоне и т. д. В таком плане возможно, видимо, и его участие в овощной торговле: он мог бы забирать овощи, толкать тележку и т. п. Однако всякая самостоятельность исключена, о чем могли бы задуматься и его родственники, правда, тогда им пришлось бы взять ответственность на себя». Брод замечает, что этот набросок ходатайства уже пропитан атмосферой «Замка», хотя отрывки из начала романа Кафка прочтет ему только в 1922 г.

Рассказ, опубликованный Бродом под заглавием «Новые лампы».

В конце пятой тетради Кафка указывает книги, которые собирается прочесть или только что прочел. Вот этот список: «Смерть в Венеции», «Исповедь» Августина, «Сумма» (журнал Франца Блея), «Буря» Келлера, «Кардинал Рец», письма Ван Гога, «Сорок лет из жизни одного умершего», «Путешествия в Абиссинию» Бейкера, Эминпаша, Ливингстон, «Воспоминания о Сезанне» Бернара.

В конце шестой тетради вновь приведен список заглавий рассказов, запланированных для сборника «Сельский врач». Он ближе к составу действительно опубликованной позднее книги, чем первый план. Это следующие заглавия: «Сон», «Перед Законом», «Императорское послание», «Короткое время» (очевидно, вариант заглавия рассказа «Соседняя деревня»), «Листок из прошлого», «Шакалы и арабы», «На галерке», «Всадник на ведре», «Сельский врач», «Новый адвокат», «Братоубийство», «Одиннадцать сыновей». Брод указывает, что шестая тетрадь содержит записанный «совершенно невозможным, почти не поддающимся расшифровке индивидуальным стенографическим кодом Кафки» набросок письма — очевидно, ответа на приглашение к участию в одном из тех проавстрийско-патриотических движений, которых в то военное время расплодилось множество; некоторые из них, возможно, рождались в искреннем порыве, но в большинстве это были назойливые карьеристские импровизации. Брод реконструирует набросок ответа следующим образом: «Поблуждав, Ваше письмо наконец попало ко мне; мой адрес: Поржич, 7. Прежде всего я благодарю Вас за тот интерес, который выражен в Вашем письме, — он меня искренне радует. Речь, несомненно, идет о полезном или даже необходимом деле. Гарантией этого — равно как и будущего — служат те добрые имена, которые стоят в Вашем списке. Тем не менее я должен воздержаться. Дело в том, что я не способен чувствовать в каком-то едином велико-австрийском духе и, разумеется, еще менее — быть в нем единомышленником этого духовного лица. Такая перспектива меня отпугивает... Но, к счастью, это не нанесет никакого ущерба Вашему объединению, напротив: я к этому органически непригоден, мои личные связи незначительны, какого-либо существенного влияния я не имею. Таким образом, вы вскоре пожалели бы, что привлекли меня... Если же из этого художественного объединения образуется — что, впрочем, неизбежно — некий союз с членскими взносами и тому подобным, я с удовольствием вступлю... Не обижайтесь на меня за этот, для меня вынужденный, отказ». Шестая тетрадь содержит также оригинальную рукопись рассказа «Когда строилась Китайская стена» (заглавие авторское). Рассказ написан в марте 1917 г. Макс Брод сообщает, что, судя по некоторым признакам, рассказ был закончен, но окончательную редакцию Кафка сжег — как и многие другие свои рукописи. Фрагмент «Императорское послание» был опубликован автором отдельно, но, как подчеркивает Брод, свое полное смысловое значение он обретает лишь в контексте всей вещи. Впервые рассказ опубликован в сборнике произведений из наследия, которому и дал заглавие, в 1931 г., фрагменты — в 1937 и 1953 гг.

Основной объем седьмой тетради занимают варианты и наброски неоконченной пьесы «Сторож склепа».

По свидетельству Оскара Баума, друга писателя, философскую пьесу под названием не то «Грот», не то «Склеп» Кафка писал зимой 1916/17 гг. Баум полагает, что пьеса была закончена, но подтверждений этому нет. В тетради остался незаглавленный текст нескольких версий практически законченного первого акта. Брод смонтировал окончание из разных версий и дал заглавие. Впервые пьеса опубликована в 1936 г. и, несмотря на то, что не окончена, неоднократно ставилась в Европе и США (в частности, Эрвином Пискатором в нью-йоркском театре «Dramatic Workshop»).

Ср.: заметка V из серии «Он».

Брод указывает, что этот текст — записанная Кафкой автобиография еврейского актера Исаака Леви (упоминания о нем есть в «Дневниках» Кафки; см. также: Брод М. О Франце Кафке. СПб.: Академический проект, 2000. Гл. 4). Актер рассказывал ее в течение многих вечеров, зачастую весьма сумбурно; Кафка, слушая, делал записи и затем набросал связный рассказ, стараясь как можно точнее воспроизвести стиль Леви. Помимо интереса к личности рассказчика, Кафкой при написании этой работы двигало еще и желание помочь несчастному, запутавшемуся в жизни и в самом себе актеру преодолеть тяжелый душевный кризис. В тетради содержится начало черновика и значительно более полная, однако тоже неоконченная чистовая рукопись жизнеописания актера; далее идут еще несколько заметок, а затем — древнееврейский вокабулярий, из семидесяти страниц тетради пятьдесят пять заняты этими штудиями иврита.

«Трефное» — нечистое, запрещенное; «хазер» — свинина

Пурим — еврейский религиозный праздник

Иом Кипур — еврейский религиозный праздник

«Леха Доди» — гимн, которым встречают наступление шабата

119 Бал-Чуве (Ваал-Чува) — обратившийся грешник, принявший покаяние.

120 По-видимому, свидетельство уже начавшейся внутренней работы над будущим «Замком»; ср. также запись 5.28.